

# Михаил Поннов



## ВСТАВАЙТЕ, ЭРЦГЕРЦОГ!

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Именно зарежет?!

– Да, дядя Фаня, так и сказал – зарежу!

Настя сидела на краю деревянных мостков и болтала ногами в воде. Стоявший за ее спиной пожилой бородатый господин возмущенно отбросил полы светлого сюртука в стороны и уперся кулаками в бока атласного жилета.

На противоположном берегу пруда высилась новая руина, от нее падала на незамутненное водное зеркало прохладная тень. У подножия ивы томился серый деревянный павильон – одновременно купальня и лодочная станция.

Седой господин – Афанасий Иванович Понизовский – возмущенно вертел головой, рассыпая каждым движением холеную шевелюру. Взгляд его перемещался от толпы сухих камышей (слева от мостков) до затянутой мелкою ряской заводи (справа). Афанасий Иванович пытался подавить неподобающее чувство, но ему это никак не удавалось. Он раздувал ноздри и подкашливал.

– Почему именно меня?!

– Я у него так и спросила, он не знает.

– Не знает почему, но зарежет! – Афанасий Иванович оставил бока, превратил кулаки в ладони и хлопнул себя по полосатым шерстяным коленям. – Это же черт знает и бог весть что!

Прохладные владения ивовой тени у противоположного берега заметно глазу сокращались, и это огорчало девушку. Как будто она только сейчас поняла – восход солнца нельзя остановить.

– Может быть, он и день назвал, когда это сделает? Назвал, а?

– Он сказал, что это будет и скоро – и нескоро.

– Прямо оракул Дельфийский, прости господи. – Афанасий Иванович развернулся и раздраженно прошелся вперед и назад по теплым доскам. Рассохшееся дерево удивленно скрипело.

Настя обернулась к взволнованному собеседнику.

– Да будет вам, в самом деле, дядя Фаня! Такое впечатление, что вас эта история взволновала всерьез.

Господин Понизовский остановился рядом со своею внучатой племянницей, правую рукой привел волосы в задуманное петербургским парикмахером положение, левую положил на гладкую прохладную голову девушки. Она плотно, до воскового блеска зачесывала волосы и завязывала сзади в узел (гордый?).



На несколько мгновений их посетило особого рода взаимопонимание; скульптурно-родственная группа замерла на краю утреннего пруда, вырытого сто пятьдесят лет тому первым владельцем имения генерал-аншефом Иваном Ивановичем Столешиним.

Афанасий Иванович нарушил и позу и тишину:

– Но все-таки ты меня тоже пойми. Внезапно, без всякого повода с моей стороны, здоровенный бугаище – одна ладонь как четыре моих и нрав «угрюмый и неизведанный» – заявляет, что намерен перерезать мне горло. Я что же – плясать от радости должен? Неприятно. Что я ему сделал, в конце концов?!

Настя незаметно для дядюшки поморщилась.

– Он не «намерен», как вы сказали, он вас уважает, говорит, что добрый вы барин. Не то что Василий Васильевич.

– И на том спасибо.

– Он не намерен вас убивать, он даже не хочет вас убивать, но знает, что делает это.

– По-моему, он нездоров. Надо показать его врачу.

– Наш пухановский фельдшер в отъезде.

– Пусть берут мои дрожки и отвезут его на станцию. Там должен быть врач.

Настя сильнее, чем обычно, дернула ногой и выбросила перед собой веер сверкающих брызг. Несколько капель повисло на подоле платья.

– Да он, пожалуй, и обидится, дядя Фаня. Он правда не похож на безумца. Он же сам честно все рассказал, не таился. Блажь просто какая-то. У меня сложилось впечатление после нашего разговора, что он и сам не рад, что на него такое нашло. Не хочет он вас убивать, зачем же мы станем в сумасшедшие его рядить?

Афанасий Иванович нервно вздохнул.

– Но все же согласись хоть с тем, что история эта не только несколько неприятна – что можно было бы терпеть, но и ненормальна. Я хотел бы отнестись к ней снисходительно или иронически, но речь идет о вещах, я бы сказал...

– Вы меня пугаете, вы на себя сделали непохожи.

Дядюшка поморщился: и сам был от себя не в восторге. Он оппозиционным движением засунул руки в карманы, вознес очи горе и прикрыл их.

– Прибегнуть разве к полиции, – прошептал он, и в лице его проявилось интеллигентское бессилие. Сам себе ответил: – Засмеют-с.

– А скажите, дядя Фаня, с вами бывает так?

– Как?

Настя перестала болтать ногами, замерла, веки с выгоревшими ресницами сблизились; на ладонях, упиравшихся в деревянный настил, проступили бледно-желтые костяшки, на губах объявилась едва заметная и чуть-чуть ненормальная улыбка.

– Всё. Всё кончилось.

Афанасий Иванович начал наклоняться вперед, чтобы заглянуть в лицо племяннице, но она первая повернулась к нему, и улыбка у нее была уже не блаженная, а виноватая.

– Это как наваждение. Глупо, конечно, но вам-то я могу рассказать, да?

– Ну, хм, я... – Афанасий Иванович приложил заверяющую руку к белому шелковому галстуку. Он любил, когда с ним делились, это подтверждало косвенным образом его собственное мнение о себе, гласившее, что он хороший человек.

Племянница вздохнула, собираясь со словами.

– Всего на несколько мгновений оно является, это ощущение, но зато уж охватывает целиком. Попытаюсь сейчас подобрать... но только знайте – словами бесконечно беднее и грубее. Вот, в общем, сижу здесь, на мостках, и пруд тот же, и сад, и то, что за садом – и небо и облака, – все то же, понимаете? А время – другое.

Дядюшка привычным движением поправил шевелюру. Он ничего не понимал но знал, что надо стараться.

– Совсем другой год, не четырнадцатый, а иной.

– Право, сложно, Настенька, мудрено. Не четырнадцатый, а какой, семнадцатый, что ли?

– Не в цифрах дело, поймите. Может, семнадцатый, может, тридцать седьмой. Не это важно. Важно то, что очень остро я как будто весь смысл этого другого года ощущаю. Могу, кажется, встать, выйти за ворота усадьбы, и мне сразу попадется навстречу не наш обычный деревенский человек, а иной. Могу поехать хоть в Петербург, а там все другое, другие дома, власти, новые моды.

– Рано или поздно все и так переменится.

Настя досадливо махнула рукой.

– Это общие фразы. Не рано или поздно, а сейчас, в данный миг! И я бы не удержалась, проверила, но это всё секунды, мгновения. Наваждение проходит, и теперь я уже точно знаю, что за прудом поле конопляное, за полем проселок, он доведет до станции, там буфетчик мух гоняет полотенцем, колокол дребезжит, к платформе скучный поезд подходит...

Рефлекторно потянувшись к жилетному карману, Афанасий Иванович достал часы, блеснула потревоженная цепочка, отвалилась металлическая створка.

– Уже полтора часа как подошел.

Настя вздохнула, а потом засмеялась.

– Вот всегда вы так, дядя Фаня. Сами говорите о себе, что вы натура мечтательная, «с небесностью», но одновременно без полета в нужный момент.

– Прости, Настенька, права ты, «без полета». Не думается мне о годе семнадцатом, когда нынче сердце не на месте. Как будто подточилось что-то, и в дыры невидимые страхи неведомые лезут. Старческое. Стариковское.

Афанасий Иванович разгладил галстук.

– Но ты меня тоже удивила. Всегда казалась мне девушкой хоть и тонкой души, но вполне практической. Откуда у тебя эти полеты ума?

В этот момент на противоположной стороне пруда из ивовых кустов появился большой полосатый обезьян. Он запрыгал по настилу купальни и замахал приветственно рукой. Тут же появился второй, тоже полосатый.

Афанасий Иванович полез в карман жилета за пенсне.

– Что за дьявол и черт?!

– Это Аркадий, – скучно пояснила Настя. – Со своим, очевидно, приятелем. Он писал.

Молодые люди в тигровых купальных костюмах, закрывавших тело от шеи до колен, весело отвязали одну из лодок и бодро погрузились в нее. Заключили весла и разом налегли на них. От несогласованного нажима лодка раскачалась, черпнула воды. Взлетел фонтан брызг. Звучный хохот поколебал основы тишины в камерном мирке пруда. Лодка была быстро укрощена, в несколько ладных взмахов

вырвалась из ивовой тени и, набирая оскорбительную для здешних масштабов скорость, полетела к мосткам.

Настя торопливо извлекла ноги из небезопасной воды и встала рядом с дядей, одергивая и поправляя платье. Дядя Фаня стоял с поднятой рукой, коей крепил пенсне к переносице.

Лодка привела с собой треугольную волну, которая всхолмила пленку воды, выкатила в камыши и произвела там шум.

– Рад видеть, кузина, – крикнул Аркадий. Полосатая грудная клетка его охотно вздымалась, грудная клетка соседа по лавке вела себя так же, только не совпадая по ритму, выдавая выдох рядом с вдохом. Создавалось впечатление, что работает хорошо отлаженный двухтактный двигатель.

– Здравствуй, Аркаша.

– Это Саша Павлов. – Крупная веснушчатая голова с ярко-красными губами, в крупных рыжих кудрях. – Я, кажется, тебе о нем рассказывал.

– Нет, не рассказывал, но я очень рада видеть Сашу.

– А это, – Аркадий хлопнул веслом к столу по воде, – мой дядя Фаня, мой самый лучший дядя. У нас тут все дяди и племянники. Родство от двоюродного до седьмой воды на киселе. И люди все хорошие и очень хорошие.

Аркадий не был чрезмерно крупным юношей, но ему достался слишком тесный купальный костюм. Призванный по идее скрывать не предназначенные к публичной демонстрации части тела, он, наоборот, их выпячивал. Рельефные бедра, раздавленные на лавке ягодицы и то мужское, что мы имеем в виду, Настя не могла не видеть. Если все это богатство умножить на два (у Саши купальный костюм тоже был тесным), можно понять приступ дурноты, что накатил вдруг на девушку. Она оперлась на плечо Афанасия Ивановича и, повернувшись в профиль к кузену и его гостю, сказала:

– Я пойду распоряжусь насчет завтрака.

Никто не услышал ее, даже дядя Фаня, восхищенно взиравший на полосатых гребцов.

– Давно ли вы изволили прибыть?

– Только что. И решили искупаться с дорожки. Генерал предложил нам освежиться, но мы отказались от его мадеры.

Аркадий называл Василия Васильевича не «папенька», не как-нибудь иначе, а именно «генерал», и трудно было понять, следует ли он таким образом какой-нибудь моде или в самом деле не испытывает к отцу глубоких родственных чувств.

– Идите домой, дядя Фаня, вам напечет голову.

Дяденька приложил холеную ладонь к макушке и сделал сообщение для вновь прибывших:

– А меня ведь зарезать обещают, Аркашенька.

Молодые люди расхохотались и, не сговариваясь, налегли на весла.

Глядя вслед поднимающимся по пологому склону фигуркам пожилого господина и девушки, Аркадий сообщил товарищу, впрочем, ни о чем его не спрашивавшему:

– Человек пустейший, но притом и милейший. Поездил по свету, по Италиям и Парижам. Всему учился, ничему не научился. Во всем разбирается, ничего не знает. Всех любит и ни в ком не разбирается. Я с ним книжки в детстве читал.

Он мне в лицах показывал переход Ганнибала через Альпы. Особенно у него получалось эхо в горах, когда слон падает в пропасть...

– А отчего его так зовут: дядя Фаня?

Аркадий недовольно и снисходительно поморщился.

– Ну, вот всегда найдется, извини за выражение, умник, который подумает, что мы тут передразниваем Чехова. Наш дядя Фаня не имеет никакого отношения к дяде Ване. Усвой это, пожалуйста. Просто лет десять назад приезжала к дядюшке родственница из Литвы. Он чуть-чуть поляк. Приемная дочь или что-то в этом роде. Так вот, она часто говорила: «Файный дядя, файный». Это, кажется, по-немецки. Да к тому же он еще и Афанасий, отсюда – Фаня.

– А кто такой дядя Ваня? – спросил Саша, очевидно, любивший докопаться до истины.

Аркадий удивленно слотнул слюну и не нашелся, что ответить.

– Между прочим, я думал, что Фаня от английского «фанни» – смешной.

– Ты что, учишь английский?

– Он мне для работы нужен.

– Для того, чтобы рыться в болотах?

– Нет, чтобы читать, – простодушно ответил Саша.

– Ах вот оно что!

– Скажи, а девушка...

– Это Настя. Странная она. Семейство у нас большое, должен быть и кто-то странный. Я, знаешь, до сих пор не могу уяснить, кто она, собственно, мне. В общем – кузина.

– А в чем странность?

Лодка вошла из света в тень, и сразу все видоизменилось. Не только вода, воздух, звуки, но даже смысл слов. Аркадий, беспечно болтавший до этого, не без напряжения произнес:

– Ей еще и полных семнадцати лет нету, а она мне иногда кажется старушкой. После того как заболел дедушка Тихон Петрович – кстати, дедушка тоже не совсем родной, двоюродный, – так вот, дом теперь на Насте, бабушка при больном неотлучно. Мужики ее уважают.

– Настю?

– Ну да. Она у них за третейского судью.

Развернувшись, молодые гребцы выбрались на освещенную середину пруда, встали на шатающемся дне лодки спиной к спине и, толкнувшись задницами, с бессмысленным визгом одновременно рухнули в воду. Стон удовольствия сотряс водные недра.

Настя и Афанасий Иванович шли по тропинке меж двумя одуванчиковыми полянами. Слева от них правила рыжая раса, справа – шарообразно-летучая. Три дня уже Настя собиралась спросить дядюшку, в чем причина этого растительного чуда, но и в этот раз забыла.

Склон венчался старинной железной оградой. За оградой густел одичавший сад. Пришлось пройти шагов сорок, чтобы добраться до ворот, они держались на двух каменных беленых столбах. На вершине одного стояла гипсовая урна, на вершине другого сидел воробей.

Войдя в ворота, дядюшка с племянницей оказались под сенью яблоневых ветвей и в конце шелестящего туннеля увидели двухэтажный дом с застекленной

верандой. На невысоком крыльце сидел в кресле-качалке мужчина с широко распахнутой газетой. Сидел неподвижно. Легкая занавесь, подчиняясь неуловимому движению воздуха, выплыла из дверного проема и замерла у его плеча, предлагая для прочтения свои узоры взамен убогих букв. Проигнорированная, вернулась на место.

Когда до ушей сидящего долетел скрип гравия под каблуками Афанасия Ивановича, он положил газету себе на грудь и сообщил с непонятным удовлетворением в голосе:

– Ну вот, его все-таки убили.

– Кого убили? – одновременно спросили дядя Фаня и молодая дама, вышедшая как раз на веранду из глубины дома. Одета она была по последней булемановской моде – в длинный облегающий костюм, украшенный шеренгами пуговиц от отворотов жакета до юбочной складки у левого колена. На голове она несла широкополую шляпу с не вполне уместными перьями, на плечах длинный платок с горностаевым рисунком. В левой руке – ридикюль на длинной кожаной цепочке. В ней чувствовалось театральное прошлое (пошлое).

– Здравствуйте, Галина Григорьевна.

– Здравствуйте, Настенька, здравствуйте, Афанасий Иванович. Вы не знаете, куда все подевались? Я уже два часа хожу по дому, и – никого! Даже прислуги нет. Аркадий с приятелем побежали купаться, Василий Васильевич не может оторваться от газеты, а я...

– Мария Андреевна у Тихона Петровича, ему опять худо. Она не отходит от него. А Зоя Вечеславовна с Евгением Сергеевичем еще, верно, почивают. Поздно вчера легли.

О «прислуге» Настя ничего не успела сообщить, потому что на веранде появился длинный, унылого, почти чахоточного вида мужик в застиранной косоворотке. Стуча сапогами, он пронес мимо беседующих господ большой никелированный самовар и установил посреди стола, сервированного к чаю.

– Здравствуй, Калистрат, – строго сказал Василий Васильевич, поправив по очереди оба бакенбарда. Калистрат поклонился, сначала господину генералу, потом всем остальным. Поклонился низко, но без души.

– Барыня к чаю не выйдут, велели сообщить.

Этот дворовый мужик был всегда себе на уме, но сегодня его сугубость как-то особенно ощущалась.

– Ступай, – сказала Настя, – я сама тут.

Каблуки Калистрата самодостаточно застучали прочь с веранды.

– Так кого все-таки убили? – спросил Афанасий Иванович.

– Да, любопытно, – поддержала его Галина Григорьевна, – впрочем, ты мне что-то уже говорил, Васечка.

Генерал крутнул в сторону молодой супружницы снисходительным глазом и объявил:

– Фердинанда Франца застрелил в Сараево сербский патриот. По моему крайнему разумению, это обещает последствия. И самые непредсказуемые. – Сказав это, генерал несколько раз выпятил крупные красные губы, и лицо его подернулось туманом государственной задумчивости.

– Хотите, я вам предскажу все, что вы считаете непредсказуемым? – раздался резкий, даже неприятный голос. Из-за вечно неудовлетворенной своим положе-

нием занавеси появилась невысокая сухошавая дама лет сорока пяти в белом свободном платье с квадратным вырезом на груди и очень широкими рукавами. Черты лица у нее были правильные, даже безукоризненные, но притом почти неприятные. Она курила тонкую папироску, вызываясь держа мундштук большим и указательным пальцами.

По тому, какое впечатление на собравшихся произвело ее появление, можно было заключить, что она не является всеобщей любимицей. Генерал неохотно и неловко привстал в знак приветствия. Галина Григорьевна качнула своей шляпой так, словно боялась обрушить сооружение, покоящееся на ее полях, и тут же заявила, что ей нужно переодеться. Настя взялась переставлять чашку, нисколько в этом не нуждающуюся. Только Афанасий Иванович поприветствовал появившуюся даму вполне дружелюбно.

– Как почивали, Зоинька?

– Все небось обсуждали с Евгением Сергеевичем судьбы будущей России? – не пытаясь скрыть иронии, подключился к вопросу генерал.

Зоя Вечеславовна посмотрела в его сторону сквозь клуб легкого дыма.

– Почему же будущей? Судьбы и ныне существующей нам небезразличны. Что же касается этого убийства в Сараево, то оно закончится ни больше и ни меньше...

– Как всевропейской войною, – послышался хриловатый лекторский баритон.

– Евгений Сергеевич, – распростер руки в ожидании объятий дядя Фаня и радостно двинулся в направлении плотного широкоплечего мужчины в полотняной летней паре.

Это был профессор Корженевский, публицист и философ, добившийся в последние годы, можно сказать, широкой и почти скандальной известности в интеллигентских кругах обеих столиц. Улыбка искривила широкий, почти беззубый рот, вечно как бы заплаканные глаза потеплели. Тот факт, что Афанасий Иванович был его безусловным и горячим поклонником, делал Афанасия Ивановича в мнении профессора человеком и приятным и значительным. Остальные члены семейства Столешинных относились к столичной знаменитости лучше, чем к его ехидной жене (своей родственнице), но чувства эти не выходили за границы абстрактного уважения. Приехал – и ладно. Работает всю ночь напролет – и пусть себе.

– Так значит, война, Евгений Сергеевич? – с сожалением отстранился от высокопочитаемого друга и сожалеюще нахмурился дядя Фаня.

Профессор проследовал к столу («Здравствуйте, Настенька»), по пути затеяв лекцию.

– А как может быть иначе? Рассудите. Дунайская империя давно носится с планами уничтожения сильного Сербского государства и не упустит такого удобного повода. В этом вопросе венгерское дворянство и венгерские буржуа всецело поддержат своего венского монарха. Внутренние руки, так сказать, у императора полностью развязаны. Мы же, я разумею империю Российскую, не можем не вмешаться; уступив так странно в Боснии, мы не можем не возвысить свой голос здесь, что бы там ни говорилось в Думе. Германия окажет моральную поддержку Австро-Венгрии, страны Антанты – нам. А в делах подобного рода моральная поддержка очень скоро перерастает в экономическую, а экономическая – в военную.

– Вы меня убедили. Почти, – кивал Афанасий Иванович, намазывая хлеб маслом, – но все же странно представить себе, что страны – хранительницы мировой культуры – дойдут до варварских способов выяснения отношений. Вы только представьте себе столкновение Франции с Германией. Это все равно, как если бы Лувр стал бы обстреливать Дрезденскую галерею.

– А вы думаете, уважаемый Афанасий Иванович, меня не беспокоит подобная перспектива? – продолжил профессор.

– Делает вид, что парит в политических эмпиреях, а на самом деле всего лишь приехал за деньгами, – шепнул Василий Васильевич своей супруге. Они устроились за дальним концом стола. Видно было, что они не горят желанием присутствовать при разговоре, но другого способа позавтракать не имелось.

– Но ваша речь... – Дядя Фаня положил намазанный бутерброд на блюде.

Евгений Сергеевич покровительственно улыбнулся.

– Речь эта не моя. Я лишь изложил основные мысли господина Сазонова, касающиеся заинтересовавшей нас темы. И князя Мещерского, лучшего нашего «гражданина».

– А сами, стало быть, держитесь точки зрения противоположной? – мстительно глядя поверх дымящейся чашки, подал голос Василий Васильевич. Он был недоволен и профессором, и тем, что не выполнил данного себе обещания ни в коем случае не вступать в препирательства.

– Как не держаться, если это точка зрения здравого смысла.

– Смысла?! Здравого?!

– Именно, генерал, именно. Это не пораженчество, не предательство, как вам хотелось бы считать, а просто трезвый взгляд на существующий порядок политических вещей. Господин Сазонов со товарищи боится, что исторически сложившееся влияние России на балканских союзников будет уничтожено, ежели государь не проявит решимости отстаивать его силой оружия. Но как можно защищать то, что уже потеряно? Нет у нас никаких естественных союзников на Балканах! Нет! Есть хитроумные князьки, желающие разыгрывать российскую карту исключительно в рассуждении своих мелких местных интересов. События последних двух лет с очевидностью это показали. Стоило схлынуть оттоманскому игу, как они зверски, преступно между собою передрались.

На протяжении профессорской речи лицо генерала наливалось темной кровью, бакенбарды нервно шевелились на щеках.

– Так, по вашему мнению, лучше просто сразу все отдать австриякам, дабы избавиться от забот?

– Вы думаете, что в вашем вопросе одно лишь патриотическое ехидство? Вы хотите меня уязвить, а на самом деле произносите политически разумные вещи.

Василий Васильевич поставил возмущенно чашку на блюде, но не попал в его центр, отчего чай расплескался.

– Не надо ли понимать ваши слова так, что вы всерьез рассматриваете возможность такого развития событий?!

Евгений Сергеевич тоже поставил свою чашку, но не пытаясь придать ей качество некоего аргумента, – просто она оказалась пуста.

– Да, генерал. Более того, я не ограничусь высказыванием этой идеи вслух. Я собираюсь предпринять кое-какие практические шаги к ее осуществлению. И уже предпринимаю.



– Если вы имеете в виду ваши заметки в милюковской «Речи», – осторожно попытался вмешаться Афанасий Иванович, – то как проявление свободы слова я бы приветствовал...

Профессор положил ему широкую бледную ладонь на обшлаг, как бы великодушно освобождая от необходимости высказываться в свою защиту.

Афанасий Иванович чуть поморщился, ему было досадно, что его так бесцеремонно зачислили в безусловные сторонники.

Генерал саркастически усмехнулся.

– Тогда я не вижу никакого вашего отличия от самого вульгарного социалиста. Неужели и в случае начала военных действий вы останетесь в позиции активного врага существующего государственного устройства?

Уголки широкого профессорского рта разочарованно опустились, в глазах появилась тихая академическая скука.

– Неужели вы не слышите, генерал, что рассуждаете в терминах охранного отделения. Вы собираетесь искоренять своих оппонентов методами господина Дубасова?

– А вы неужели до сих пор не поняли, что социалисты не могут быть отнесены к числу политических оппонентов? Это другое. Это нечисть, колония микробов в относительно здоровом организме.

– У вас странное представление о здоровье.

Галина Григорьевна переводила любопытствующий взор с одного спорщика на другого. Пожалуй, она была одинаково далека от понимания как иронии профессора, так и волнения генерала. Ей, кажется, все равно было, что один из спорящих является ее мужем. Зоя Вечеславовна курила, так и не притронувшись к еде. Все знали, что она полностью разделяет точку зрения мужа и поэтому не вмешивается в разговор, хотя очень любит поговорить.

– Но так можно договориться черт знает до чего, милостивый государь Евгений Сергеич, – генерал бросил салфетку на стол, положил руки на скатерть, и она сморщилась под их тяжестью, – отчего же нам вообще тогда останавливаться, а?

– О чем вы, Василий Васильевич? – Профессор почувствовал, что дальний родственник собирается пойти по второму кругу препирательств, и очень их не хотел, не зная, как этого избежать.

– Почему же только Балканы? А Польша? А Финляндия, надобно и их оставить собственной судьбе? Армян – туркам, пусть режут! Грузин – персам. Да и в Поволжье полно инородцев, которые захотят, быть может, собственного пути и закона. Где предел послаблениям?! Отчего нам Петербург не объявить новой Астраханью – на том основании, что все дворники там татары? Они его подмечают, стало быть, имеют на него особые права!

Настя одним ухом слушала застольных спорщиков и старалась при этом уследить за двумя одновременными событиями вне пределов веранды. По яблонево аллее поднимались к дому, чему-то смеясь, Аркадий с приятелем. Утреннее купание весьма освежило их. Настя надеялась, что, явившись на веранду, они станут той силой, которая рассеет всеобщее раздраженное состояние.

Также наблюдала она и за худой фигурой Калистрата, стоявшего у входа в каретный сарай. Калистрат поигрывал большими английскими садовыми ножницами: то откроет, то закроет. Он беседовал с кем-то, находящимся внутри сарая. Угол обзора не позволял видеть, с кем именно. Настя пыталась понять, почему

движения железных челюстей выглядят так угрожающе. Может быть, угрожающий вид им придают усилия Калистрата?

– Никогда этого не будет, никогда, господин профессор!

Это возмущенное восклицание оторвало внимание Насти от садовых ножниц.

Генерал встал. Евгений Сергеевич, напротив, поудобнее откинулся в кресле и сказал отчетливо примирительным тоном:

– Я, кажется, вас задел, Василий Васильевич, поверьте, это не входило в мои планы.

– В этом я как раз не сомневаюсь, – усмехнулся вдруг генерал. – Сердить меня в данный момент вам крайне невыгодно.

Генерал грубо намекнул на финансовую подоплеку «семейного съезда».

Профессор озабоченно, можно даже сказать, растерянно посмотрел в сторону своей жены. Разговор из сферы абстракций внезапно перешел на практическую почву, и столичная знаменитость почувствовала себя неуверенно.

Зоя Вечеславовна, ни на секунду не растерявшись, подхватила эстафету.

– Вы абсолютно правы, дорогой мой дядюшка, – (Василий Васильевич был двоюродным братом хозяина имения Тихона Петровича Столешина и, стало быть, приходился двоюродным дядей его племяннице), – мы приехали сюда не для того, чтобы ссориться с вами, а с тем, чтобы наконец урегулировать раз и навсегда накопившиеся вопросы.

– Можно ли говорить об этом, когда Тихон Петрович так плох, – укоризненно сказал Афанасий Иванович.

– Вы правы, дядя Фаня, сейчас говорить об этом не стоит. И по соображениям морального порядка, и по соображениям порядка практического. Пока дядя находится в том состоянии, в котором он находится, приставать к нему с финансовыми разговорами не только жестоко, но и бессмысленно.

Всем было ясно, что Зоя Вечеславовна права, но при этом все испытывали острое чувство неловкости. Настя разочаровалась в Аркадии и его приятеле. Вместо того чтобы спешить к столу для спасения общесемейного чаепития, они полезли на яблоню, как бы подтверждая, что первое впечатление от их появления, когда они были столь похожи на обезьян, было не очень уж ошибочным. Напряжение разрядил профессор.

– А давайте знаете что сделаем? На днях я закончил одно сочинение. В нем в наиболее полной и, так сказать, образной форме (профессор улыбнулся) я изложил мои мысли по вопросу, который мы здесь с господином генералом затронули. Хотите, я прочту его, хоть сегодня вечером? Может быть, после того как я переверну последнюю страницу, выяснится, что истинные наши позиции, Василий Васильевич, не так уж и разнятся. Поверьте мне на слово, устная речь иногда до неузнаваемости изменяет мысль. Ну, как?

Предложение никого, конечно, не восхитило, но вместе с тем это был вполне пристойный выход из положения. И единственный на данный момент.

– Это роман? – спросила Настя.

Евгений Сергеевич улыбнулся гордо и смущенно.

– Можно сказать и так.

– Ах, роман... – В глазах Галины Григорьевны тоже появился интерес.

– Доброе утро! – объявил Аркадий, поднимаясь на веранду.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

«Ранним утром 28 мая 1914 года молодой человек в мягкой белой шляпе, спортивном английском костюме и черных вязаных гетрах остановился у распахнутых ворот дома № 6 по Великокняжеской улице. Удивителен сам факт распахнутых ворот, прежде их можно было увидеть только запертыми. В любое время дня и в любую пору года. Дом был знаменит в городе, да, пожалуй, и во всем княжестве тем, что стоил очень дорого, что никто не владел им долго и все владельцы кончали плохо. Из последних можно было назвать одного непутевого представителя сербского правящего дома, сына анатолийского коврового фабриканта и вдову русского сахарозаводчика. Посреди мощеного двора перед входом в трехэтажный особняк (заслуживавший скорее наименования дворца), выстроенный в привычном для этих мест трансильванском стиле, стояло, лежало и валялось огромное количество разнообразной мебели: бюро, кресла, сундуки, ширмы, поставцы, диваны, стулья.

Иван Андреевич Пригожин, сын костромского архитектора, вольный путешественник, а также любитель разнообразных искусств, подчиняясь не вполне осознанному внутреннему порыву, вошел в ворота.

Надобно, пока не иссяк читательский интерес к этому двадцатидвухлетнему господину, сообщить о нем самые необходимые сведения. Он был обладатель разнообразных, но не всегда основательных дарований. Слыл влюбчивым малым, но на описываемый нами момент не был связан сильным чувством или определенными обязательствами с какою-либо особою противоположного пола. На губах его еще, быть может, цвело дыхание черноволосяй прелестницы Эмили, продавщицы цветочной лавки из флорентийского предместья, но из легкого сердца образ ее уже испарился. Путешествовал он уже более года, отправленный папенькой своим, малоталантливым богобоязненным человеком, на учебу в лучшие заграничные заведения. Науками он, может быть, и овладел, но не превзошел их, отчего несколько опасался возвращения в родные пенаты.

Иван Андреевич посетил мебельные мастерские Руперта Айльтса в Карлсруэ, Симона Звервеера в Роттердаме. В Париже он задержался долее всего, что понятно и почти извинительно. Вначале большая часть его времени тратилась на ознакомление с мебельным мастерством, а меньшая шла на сон и легкомысленный отдых. Впоследствии его жизнь состояла исключительно из легкомысленного отдыха с короткими перерывами на сон.

Нет, нельзя сказать, что юноша полностью отринул отцовскую идею – сделать из него мебельщика. Он знал про себя твердо, что рано или поздно отправится домой, неся в своем сердце итальянскую весну, немецкие горы, парижское небо, а в голове – чертежи кроватей, составы пропиточных лаков и приемы заграничных резчиков.

Наконец, примерно на пятнадцатом месяце познавательного путешествия, старший архитектор стал проявлять признаки нетерпения. Он писал, что теряет силы и желал бы видеть наследника рядом с собою для подобающей передачи дел.

На такие аргументы возразить нечего. Устроив последний вольный загул в «Тур Д'Аржан», «Ле Беркли» и кафе «Де Флер» на бульваре Сен-Жермен, Иван Андреевич лег на обратный курс. Последним пунктом, требовавшим продолжительной остановки, был город Ильв, столица крохотного княжества на Балканах.

Там проживал маэстро Лобелло, человек неясного происхождения, но громадного (не только мебельного) таланта. По мнению Пригожина-старшего.

Старый архитектор и старый мебельщик сдружились в восьмидесятые годы прошлого века, в бытность Пригожина-старшего военным инженером при русской дипломатической миссии в Ильве. После Второй Балканской войны миссия эта была временно закрыта.

Явившись в скромную столицу карликового государства, Иван Андреевич тут же отправился с визитом к маэстро, но застал его лежащим в жестокой лихорадке. Доктор Сволочек, тихий, интеллигентный словак-доктор, пользовавший старика, утверждал, что болезнь хоть и тяжка, но никоим образом не смертельна, и посоветовал молодому гостю маэстро остаться и подождать выздоровления. Молодой человек последовал этому совету. Он был даже рад возможности задержаться, дабы освежить в памяти свои многомесячные занятия и упорядочить свои записи. Дома ему несомненно предстоял экзамен. Доктор Сволочек взялся опекать его. Внимательность и забота, проявляемые им, были на грани назойливости, но Иван Андреевич терпел, положив себе во что бы то ни стало дожидаться встречи с маэстро Лобелло. Или, по крайности, его смерти. Без этого он не мог ехать домой.

Итак, Иван Андреевич вошел во двор трансильванского дворца и замер перед первым же экспонатом. Это был шкаф, представлявший собою как бы два поставленных друг на друга сундука, – с двустворчатыми дверцами, консолями и пилястрами, богатым цоколем и карнизом. Подле стояло кресло. Высокая его спинка и подлокотники были покрыты резьбой и обильной и изящной. Италия раннее Возрождение, сообразил Иван Андреевич. На лице самозваного посетителя читалось все больше восторга в ущерб первоначальному удивлению. И как было не восхититься зрелищем голландского уголка. Здесь уже почти не было тяжеловесного дуба, и даже орех утратил свое доминирующее положение. Царство черного амарантового дерева, розового бразильского, называемого также якарантовым, что свидетельствовало о широчайших ареалах голландской торговли того времени. Нидерландские мастера XVI–XVII веков восприняли и усовершенствовали приемы предшественников своих из раннего итальянского Ренессанса, они освоили характер новой орнаментации благодаря гравюрам Кука ван Эльста, Корнелиуса Боса и Корнелиуса Флориса.

А что там дальше? Мебель в стиле Франциска I? Иван Андреевич легко отличил ее по наплыву итальянского орнамента на готические формы, по полной победе ореха над дубом. Кресла с неимоверно высокими спинками, табуреты, столы, лари, шкафы как бы были задуманы готом, а украшены ломбардцем.

Иван Андреевич задержался у роскошного дрессуара, столь магнетическим было действие этого роскошного поставца на его воображение, что он простоял бы возле него долго, размышляя, быть может, о превратностях судьбы, постигших великолепного французского монарха, когда бы не бросился ему в глаза блеск парчи, коей была обита спинка стоявшего поблизости кресла. Оно имело отчасти итальянский вид, но опытный глаз различил, что сейчас предстоит вступить в пышное царство Генриха II. Иван Андреевич не был поклонником этого чрезмерно изукрашенного стиля. Прямолинейная попытка реанимировать в середине XVI века древнеримские мотивы. Все эти мраморные птицы, фантастические животные вместо ножек, гермы, колонны, портики на шкафах, шифоньерах, засилье парчи, бархата вызывали в нем тоску, и он поспешил пройти дальше и

как будто произвел путешествие в прошлое, попал в мир XII века, в мир романского стиля. Здесь все свидетельствовало о простоте и целесообразности. Все было подчинено целям повседневного быта и немудреного обихода. Царство сундуков, заменяющих собою стол, стул, кровать и шкаф. Противник всяческой чрезмерности, Иван Андреевич отвергал не только чрезмерность в пышности, но и чрезмерность в простоте. Он бежал из мира окованных металлом ящиков, поставленных для удобства перемещения на маленькие колеса. Они возбуждали почему-то сильнейшую в нем тоску.

Вскоре он увидел перед собою шкафчик для медалей, изготовленный из черного дерева с бронзой. Он сразу угадал, что это работа Андрэ Буля, тут же стояла пара кресел золоченого дерева на изогнутых ножках в стиле позднего Людовика XIV. „Не в Фонтенбло ли я?“ – явилась мысль. В этом убеждал и сосед Андрэ Буля – дворцовый стол резного золоченого дерева с мраморной доской (правда, треснувшей в двух местах). Тут же дал знать о себе и стиль Регентства, представленный замечательной парой диванов, обитых гобеленовой тканью, и шкафом-комодом из орехового дерева с резьбой и откидной доской для письма. Доска были откинута, и на ней лежал полусвернувшийся лист желтоватой бумаги с поставленной поверх него чернильницей. Из нее торчало несколько потрепанное, но гусиное перо...

Евгений Сергеевич сделал паузу и потянулся к стакану с чаем. Воспользовавшись этим, собравшиеся на веранде слушатели зашевелились. Галина Григорьевна поправила шаль на плечах. Василий Васильевич гулко прокашлялся и выразительно посмотрел по сторонам: мол, какая скукота эта профессорский «роман». Многие были с ним согласны, особенно юные купальщики, им приходилось тратить массу сил, чтобы скрыть зевоту и удерживать веки в растворенном состоянии.

Зоя Вечеславовна регистрировала все мельчайшие детали, свидетельствовавшие о скрытом отношении родственников к мужнину тексту.

Промокнув аккуратные усы, Евгений Сергеевич продолжил:

– Эта женщина...

Но его прервала Настя:

– Бабушка!

В дверях, уводивших в глубь дома, стояла Марья Андреевна, невысокая сухонькая старушка со сложенными на груди темными кулачками. Стояла в привычно скорбной позе и не мигая глядела перед собой.

Две подвешенные над столом керосиновые лампы с трудом держали фронт в борьбе с силами всемирного мрака, обступившими дом. В такой световой обстановке внезапное появление хозяйки произвело известное впечатление. И оно укрепилось в слушателях, постепенно понимавших, что смотрит Марья Андреевна как-то странно, мимо них, сквозь веранду. Кое-кому подумалось: выход старушки так многозначителен оттого, что она пришла сообщить о кончине Тихона Петровича.

Настя перекрестилась. Глядя на нее, Галина Григорьевна сделала то же.

И тут Марья Андреевна громко и довольно твердо спросила:

– Зачем ты явился?

При том она продолжала глядеть сквозь веранду.

У многих явилась мысль: в себе ли она?

Головы повернулись, чтобы проследить за ее взглядом. Сидящему на свету трудно рассмотреть что-либо находящееся в темноте. Одно лишь можно было утверждать – за стеклами веранды кто-то есть. И этот кто-то огромен.

Марья Андреевна видела больше, потому что сама находилась в неосвещенном коридоре. Может быть, какой-нибудь сведущий в законах оптики тип посмеется над этим объяснением, но присутствующим было не до смеха. Тишина установилась страшная. Только неизбежная и по законам природы, и по законам литературы бабочка выписывала шершавые вензеля по потолку.

– Я спрашиваю, зачем ты пришел? – повторила свой вопрос Марья Андреевна.

В ответ раздались тяжелые шаги. Смутная тень двинулась вдоль окон, и на пороге, отодвинув огромной ладонью занавесь, появился огромный мужик, одетый мужицким образом. Армяк, подпоясанный вервием, онучи, лапти, бородища лопатицей. С головы он медленно снес и в скомканном виде приложил к груди суконную шапку. Поклонился со скоростью Пизанской башни.

– Фролушка, – облегченно сказала Настя.

– Какой-то уж очень утрированный народный тип, – прошептал на ухо жене Евгений Сергеевич.

«Как это он так бесшумно смог подойти к дому?» – тоскливо подумал Афанасий Иванович и ослабил узел галстука. Стало трудно дышать.

Марья Андреевна подошла к выражавшему всем своим видом покорность гостю и попыталась дружелюбно потрепать его по плечу. Достала только до локтя

– Ну, ступай, Фрол, ступай.

Человекобашня стала покорно поворачиваться вокруг своей оси.

– Нет, нет, нет! – послышался немного видоизмененный волнением голос Афанасия Ивановича. – Раз уж он сам сюда явился, пусть говорит. Пусть ответ дает, что это он за разговоры стал водить в последнее время!

Дядя Фаня встал и, любимым своим движением уперев руки в бока, подошел вплотную к широченной, виновато согбенной спине. Ему было важно всем показать, а себе доказать, что никакого тайного трепета он в связи с этой бородатой орысиной не испытывает. Но, увидев, что сзади за поясом у Фрола торчит топор, он осекся. Резкий, почти агрессивный выход милейшего Афанасия Ивановича произвел эффект. Даже супруги Корженевские отреагировали. Профессор закрыл рукопись, а профессорша потушила папиросу. Генерал – тот даже встал; его в равной степени заинтересовали и смущенный гигант, и возможность пустить вечер по другому руслу, где стало бы неуместным дальнейшее чтение мебельного романа.

– Марья Андреевна, – громко воскликнул он, указывая на крестьянскую спину, – что это мужички у вас по ночам с топорами шастают?

Хозяйка дома неожиданно сильно смутилась; не приученная жизнью к тому, чтобы скрывать свои мысли, она и не смогла скрыть, что топор этот ей тоже не нравится. И одновременно является полной неожиданностью. Ко всему остальному она была вроде как готова, а к топору – нет. Поняв, что толку от старушки он дождется нескоро, генерал повернулся к дяде Фане, тоже, по-видимому, посвященному в тайну происходящего.

– Афанасий Иванович, может, ты чего-нибудь скажешь?

Но тот говорить был не в состоянии. Лицо сделалось апоплексического цвета, а в глазах появилась влага.

Но полноценной немой сцене возникнуть было не суждено. Подал голос владец инструмента:

– Мы не убивцы, мы плотники. А топор у меня завсегда при себе.

Не успело население веранды как следует вдуматься в смысл этой загадочной фразы, как с места сорвалась Настя и, в несколько бесшумных шагов подлетев, схватила Фрола за руку и стала поворачивать лицом к людям. За время этой замедленной процедуры она успела вкратце изложить простое объяснение сегодняшнего, папахивающего скверной мистикой, визита.

Оказывается, два дня назад горничная Груша – вон она стоит за спиной Марьи Андреевны – рассказала барыне о странностях, которым вдруг стал подвержен ее свекор, непьющий, уважаемый в деревне мужчина Фрол Фадеич Бажов. Странность главная состояла в том, что он, явившись к причастию, рассказал священнику отцу Варсонофию о возникшей у него поразительной уверенности, будто зарежет он вскорости одного человека, а именно родственника барина своего Афанасия Ивановича Понизовского. Отец Варсонофий помыслы такие безумные безусловно осудил, наложил соответствующую случаю епитимью, но про себя счел несомненной и беспредметной блажью. «Разыгралась фантазия народа», – так примерно высказался он в разговоре с фельдшером Михеенко. Марья Андреевна, в силу своей общей чуткости, отнеслась к сообщению Груши внимательнее, даже разволновалась. Упросила «внученьку» свою Настю сбегать в деревню и самолично разузнать, что там к чему. Плотник Фрол Фадеич и от Насти не скрыл своих удивительных настроений. Да, зарежет, да, дядю Фаню. Только не знает когда. Через время. После каких-то неясных событий. Каких? То нам неизвестно, так примерно отвечал. Все это Настя рассказала и Марье Андреевне, и Афанасию Ивановичу, вот отчего такое настроение сложилось на веранде при появлении Фрола.

Евгений Сергеевич и Зоя Вечеславовна обменялись кривыми улыбками.

– Я же говорил, будет интересно, – шепнул Аркадий Саше, – а ты – «торфяник, торфяник».

– Но завтра все же пойдем? – озабоченно переспросил тот.

– Да пойдем, пойдем.

– Ну, хорошо, – улыбнулся генерал, явочным порядком возглавивший следствие по странному делу, – история любопытная, слов нет. Остается узнать, зачем он сюда сейчас явился.

Галина Григорьевна смотрела на мужа с особого рода восхищением, ей было приятно, что ее Васичка и здесь полный начальник над всеми людьми и обстоятельствами.

– Сейчас? – Настя быстро снизу вверх посмотрела на Фрола, в его лице была обширная растерянность. Девушка чувствовала, что обязана каким-то образом защитить представителя народа от представителя власти. На стороне Фрола была – по ее мнению – какая-то, пусть и не вполне изъяснимая, но правда. На стороне второго – лишь высокомерное барское любопытство.

– Да, хотелось бы узнать, зачем? – стал на сторону генерала дядя Фаня. Это задело Настю, но и помогло тут же придумать связный ответ.

– А он просто побоялся, что его неправильно поняли, что слова его, переданные мною дяде Фане, могли напугать его зря.

– И он пришел объясниться лично? – продолжал возвышаться над тихим безумием ситуации генеральский здравый смысл.

– Да-с! – с вызовом ответила Настя.

– С топором?

– Плотники они. – Голос девушки почти сорвался.

– Барышня правильно говорит? – в пол-лица повернулся к потупившемуся Фролу Василий Васильевич.

– Да, – сказал стыдливо, но твердо плотник. Но и генералу, и прочим осталось непонятным, согласился ли он с рассказом Насти или просто еще раз подтвердил свою профессиональную принадлежность. Генерал открыл рот для уточняющего вопроса, но тут за спиной у него послышались шаги, и «следователь» и остальные с ненормальной поспешностью обернулись. «Калистрат», – прошептал кто-то.

Калистрат, колотя железными набойками в пол, неся на лице скорбно-ироническую ухмылку, прошел к столу, убрал с него остывший самовар, поставил новый, горячий, и, не говоря ни слова, удалился. Это вторжение произвело на всех весьма неприятное впечатление, но никто не счел нужным высказываться по этому поводу.

– Ну так вот что я у тебя хочу спросить, дорогой мой Фролушка, как изволит называть тебя... – продолжил взятую на себя роль генерал.

– Давайте оставим его в покое, – снова встала у него на пути «внученька», – сколько можно, извините, Василий Васильевич, издеваться над человеком?! Это просто поветрие в воздухе такое. Мне и то мысли разные в голову лезут.

– Какие же? – весело, но со значением спросил Аркадий.

– Таким тоном бравые гусары шутят с синими чулками, оставьте этот тон, кузен, – резко ответила она ему.

Отбритый студент нахохлился, но до его чувств никому сейчас не было дела.

– Поветрие, именно поветрие... – начал было Афанасий Иванович, но ему трудно было перебить разошедшуюся Настю.

– Вот Калистрат, вы все видели его сейчас, давеча мне и говорит – уверенно так, – что через месяц пойдет на каторгу. Он на выдумки не горазд, сам себе на уме человек, не болтун. А говорил уверенно, очень уверенно. У Фрола что-то из этой же области. Скажите, Евгений Сергеевич, – вдруг повернулась к профессору, – вы ведь ученый, разве такое не случается иногда? Бывает, что находит вдруг на всех такое?

Евгений Сергеевич выразительно пожал плечами, показывая, что тема разговора лежит много ниже его уровня. Но все глаза обратились к нему как к арбитру, и он не мог отмолчаться.

– Я, прошу прощения, не медик. Впрочем, здесь, может быть, и не медицинская проблема, а историческая. Можно припомнить случай, когда целыми народами овладевало своего рода безумие, какие-то предчувствия апокалиптические. Да и наши мужички среднерусские раз в три года готовятся к концу света.

– Конец света, так конец света, – вмешался дядя Фаня, – но почему для начала надо зарезать именно меня?!

Евгений Сергеевич развел руками.

– Я не убивец, – почти угрожающе заявил Фрол.

– Вы говорите – мужики, – раздумчиво вздохнула Марья Андреевна, – а вот Тихон Петрович час тому назад сказал, что умрет ровно через месяц. Как объявят, так он и умрет, а что объявят, не объяснил. Очень спокойно сказал. И я ему поверила.



– Так он пришел в себя? – заинтересованно вскинулась Зоя Вечеславовна.

Профессор расценил слова Марьи Андреевны как сомнение в свой адрес и начал приосаниваться для того, чтобы заново и научнообразнее все переобъяснить. Генерал, боясь, что он снова овладеет инициативой, вмешался:

– А я считаю, что дело должно довести до конца. Он, – палец во Фрола, – явился, чтобы нечто объяснить, так пусть объясняет. Где и как произойдет то, что, как он считает, предстоит ему сделать и чего он делать не желает. По его словам. Может нам кое-что станет понятнее.

Несмотря на чрезмерную витиеватость, граничащую с косноязычностью, речь генерала показалась всем убедительной. Так часто бывает. «Есть речи – значение темно иль ничтожно, но им без волнения внимать невозможно».

На веранде началось сочувственно-заинтересованное шевеление. Почувствовав всеобщую поддержку, генерал хотел было обратиться к представителю народа, дабы растолковать ему, что хватит, мол, темнить. Но не успел, ибо услышал угрюмый голос представителя:

– Я знаю, где.

Стало быть, все понял из говорившегося выше.

– И отлично, – воскликнул генерал, – может быть, в таком случае ты нас туда проводишь?

Фрол отрицательно покачал головой.

– Что значит это твое?.. – Василий Васильевич как мог передразнил его.

– Вы, барин, меня поведите.

– То есть как? Ты же сказал, что знаешь!

Фрол кивнул и молча постучал себя скомканной шапкой чуть пониже кадыка.

– Истинный Бог. Только дороженьки не ведаю. Вы поведите меня, я и узнаю.

Раздался негромкий деланный смех Евгения Сергеевича.

– Да он просто дурачит вас, генерал. Сейчас каждый мужик мнит себя Распутиным. И внешне похож.

Все мысленно согласились, что слова профессора, в общем-то, справедливы, но вместе с тем остались при мнении, что он неправ.

Генерал, продолжая ощущать всецелую поддержку масс, не побоялся показаться смешным и решил возглавить предполагаемое шествие.

Несколько минут ушло на его подготовку и оснащение. То есть на то, чтобы отодвинуть соломенные кресла и встать, чтобы принести свечи и возжечь их.

– Ты не пойдешь? – спросила Зоя Вечеславовна оставшегося в креслах мужа.

– Лейбниц, кажется, как-то сказал: если ко мне прибегут и скажут, что типографский шрифт, случайно рассыпанный на улице, сложился сам собою в «Энеиду», я и пальцем не шевельну, чтобы пойти посмотреть. Я остаюсь с Лейбницем.

«Как типографский шрифт мог оказаться на улице?» – зачем-то подумал дядя Фаня.

Евгений Сергеевич был доволен собой. Он специально произнес свою краткую речь очень громко, ему хотелось уязвить неблагодарную толпу, не оценившую его романа. Пусть уходят! Но пусть уходят с клеймом дикарей на челе. Генерал был

настолько на коне в этот момент, что счел возможным не удостаивать журнальную крысу ответом. Зоя Вечеславовна, всем умом находясь на стороне мужа, все же, не справившись с внутренним позывом, выдохнула вместе с клубом дыма:

– Мне надо там быть.

Лейбниц пожал плечами.

– А ты чего сидишь? – спросил Аркадий друга.

– Я здесь побуду, а ты мне потом все расскажешь.

– Ну, ты, брат, настоящий торфяник.

Саша Павлов виновато потупился, но остался на месте. Несмотря на эти мелкие неприятности в арьергарде, генеральское шествие двинулось. Василий Васильевич Столешин, согнувшись в дурашливом четвертьпоклоне, пропустил вперед себя Грушу со свечой и самого испытуемого.

– Прошу-с, – и последовал за ними. Брак с таганрогской актрисой сказался в этом его движении.

За генералом шли парюю немного испуганная Марья Андреевна и приятно возбужденная Галина Григорьевна. Афанасий Иванович вел под руку Настю. Ей, кстати, казалось, что он, наоборот, опирается на нее. Аркадий, неизбежно юношески кривляясь, замыкал процессию. Веранда почти опустела.

Евгению Сергеевичу было приятно, что он остался не в одиночестве.

– А что же вы? – спросил он Павлова. Ему хотелось верить, что причина его усидчивости не лень, а полноценное презрение ко всей этой мистической чуши. Волна краски окатила юного естественника, внимание столичной знаменитости просто ошпарило его.

– Да я как-то... Мне бы на болото завтра пораньше. Да и неловко.

Ответ в целом удовлетворил профессора, и он начал примериваться, как бы максимально приятным для себя образом продолжить разговор, но ему помешало, как всегда, в высшей степени бесцеремонное появление Калистрата.

Он подошел к столу, посмотрел в упор на самовар и задумчиво произнес:

– Однако полон.

Евгений Сергеевич саркастически усмехнулся.

– Вот она, загадочная русская душа. Ну как ты вот определил, что самовар полон?

Калистрат поиграл правой бровью.

– Да уж, – был ответ.

– А скажи-ка мне, откуда ты взял, что через месяц пойдешь на каторгу, а?

– Да уж знаю, – смыслом в себя произнес худобый мужик и с тем удалился.

Профессор еще раз усмехнулся, даже возмущенно всплеснул руками.

– Ну что, скажите мне, молодой человек, что кроме вечного валяния Ваньки есть в этом столь самобытном субъекте?! Ведь не может он знать, что самовар полон, не может он видеть сквозь никелированное железо. Шатается туда-сюда от дури и безделья. От дури и безделья же врет про каторгу. Разве нет?

Саша потупился и тихо сказал:

– Он поглядел, что все чашки чистые, стало быть, воду мы и не тратили совсем. Ведь Груша чашки после первого самовара переменяла. Мы и не прикасались.

Студент стеснялся своей правоты и охотнее промолчал бы, чтобы не вступать в разногласия с таким человеком, как профессор Корженевский. Но он был в том возрасте, когда истина почему-то дороже всего.

– Это пусть, самовар – он и есть самовар. А вот каторга, что вы на каторгу скажете?

Юный друг истины неуверенно улыбнулся.

– То-то же! – победоносным тоном, скрывая некоторое тайное недовольство собой, заявил профессор.

Между тем процессия мучимых нездоровым любопытством свеченосцев продвигалась по тихому лабиринту ночного дома. Бесшумные причудливые тени шарахались по стенам. Кресла, столы, диваны корчились и неохотно замирали, попадая в поле устойчивого света. Осталось только догадываться, что они вытворяли, будучи предоставлены сами себе в полной темноте.

Войдя в очередную комнату, Фрол останавливался. Молча, неторопливо, внимательно поворачивался. Спутники, не сговариваясь, распределялись по помещению, дабы осветить его равномерно. Мысленно сличив картину со своим необъяснимым видением, Фрол отрицательно мотал головой в ответ на немые вопросы, обращенные к нему, скупым народным жестом предлагал двигаться дальше.

Почти полная бесшумность (не считая шарканья подошв, треска свечей, судорожных вздохов) процессии постепенно придала ей оттенок торжественности. Те, кто унес в душе с веранды некоторое количество иронического недоумения, очень скоро расстались с ним. Смесь любопытства и трепета – вот что царило в душах. Даже Василий Васильевич принужден был умолкнуть, тем более что ему не перед кем стало демонстрировать свое главенство: кадетский умник был на сегодня повержен.

Марья Андреевна передвигалась почти сомнамбулически. Даже непонятно было, отдает она себе отчет в происходящем или просто плывет себе по эмоциональному течению.

Афанасий Иванович не скрывал волнения на правах будущей и, возможно, скорой жертвы. Поправлял галстук и дергал щекой, чего раньше за ним не было замечено. Аркадий улыбался (хотя и молча), руки нес засунутыми в карманы форменных брюк, всем своим видом демонстрируя, что он привлечен, конечно, одним лишь только любопытством. Интересно все же узнать, как именно сходят с ума некоторые старики.

Глаза Галины Григорьевны сверкали, весь день она скучала, большую часть вечера томилась, наконец ей пообещали развлечение с оттенком чего-то таинственного, а таинственное – хлеб подобных натур.

Зоя Вечеславовна во время хождения не только светила, но и дымила – курила жадно и непрерывно. Она молчала, но генерал немного ее опасался. Он был уверен, что она специально послана профессором, чтобы в самый интересный момент все испортить своим ядовитым ехидством. Это в ее стиле – внезапно шлепнуть в апельсиновое желе ложку хрена.

Настенька выглядела уместнее других. Глубоко запавшие глаза, сухое, вытянутое, воскового оттенка лицо, прижатые к скромной груди руки, походка, списанная с какой-нибудь особо деликатной тени. Вместе с тем ощущалось, что она что-то понимает.

О Груше сказать нечего: сбита с толку горничная – и все. Может быть, вот еще что... Нет, поздно, Фрол остановился. Это была так называемая «розовая гостиная», самое изящное место в доме и, пожалуй, самое нелюбимое. Она получила

свое наименование во времена Ивана Ивановича Столешина, потому что стены ее были затянуты розоватым штофом, а в центре потолка вылеплен большой медальон, в котором до сих пор угадывались соответствующие лепестки и шипы.

Меблировка с некоторою натяжкой (надобно учесть и качество освещения) могла быть признана павловского стиля. Герой Евгения Сергеевича, надо понимать, сориентировался бы определеннее.

Бородача в лаптях заинтересовал более всего большой изразцовый камин. Рядом с ним высилось во всю стену темное зеркало. В нем чувствовалась такая же глубина, как в поставленном на бок пруду.

– Здесь.

Аркадий заглянул в темные воды стекла, но таким ничтожным и неуместным себе показался, что принужден был немедленно бежать оттуда с легким чувством позора в душе. Бежал он с такой поспешностью, что слегка толкнул свою мачеху. Галина Григорьевна хихикнула, Василий Васильевич поморщился (неизбежные семейные узлы) и заговорил:

– Так ты утверждаешь, что это случилось здесь, да?

Генерал пытался взять свой прежний, времен веранды, тон. Это удалось ему не вполне. Фрол поставил его на место одним словом:

– Тута.

– А как, может, сообщишь нам, ты определил? Ведь должны же быть...

– По приметам.

– А-а, понятно, понятно... И назвать сможешь, по каким?

Фрол смог. Охотно объяснил он, что зарежет Афанасия Ивановича возле этой печки без дверки, рядом с зеркалом и часами.

– Часами? – раньше генерала спросил дядя Фаня.

На каминной доске действительно стояли большие фарфоровые часы, изображавшие толстого немецкого пивовара, сидящего на пригорке с бочонком родного пива под мышкой. Дно бочонка играло роль циферблата.

– Тихон Петрович часы эти с нижегородской ярмарки привез, – сочла нужным пояснить Марья Андреевна.

– Ты не ошибаешься? – спросил генерал.

– Как можно, барин, – почти обиделся Фрол.

– Так, может... – нервно хмыкнув, выступил на первый план Афанасий Иванович, – ты покажешь, как это будет сделано, а?!

Было видно, что он бросает какой-то вызов. Фрол принял его, даже и за вызов не приняв.

– Покажу, – просто сказал он, – вы стоять будете здесь.

Толстым, в грязных царапинах пальцем он отодвинул Афанасия Ивановича от каминной пещеры чуть в сторону, одновременно другой рукой изготавливаясь к какому-то еще движению.

– А я...

– Ты топор-то мне отдай, – подал голос генерал. Фрол покосился на него, по-мрачному и повторил свое сакраментальное:

– Мы не убивцы, мы плотники, – и добавил, что топорик свой для такого дела, как «убивство», он «поганить» никак не станет. А может он использовать нож. И нож у него об нужную пору обязательно будет. Кривой такой, острый, не сапожный, но очень острый.

Афанасий Иванович, глупо улыбаясь, стоял, прижавшись плечом к каминной доске; коленки у него не дрожали только потому, что он изо всех сил старался скрыть дрожь. Генерал стоял рядом. Он тоже был напряжен, он считал, что его место рядом с «жертвою», причем думал он это слово без кавычек. И еще он старался определить, не слишком ли далеко зашла игра, потому что плотник не собирался останавливаться. Лево́й рукой он взял Афанасия Ивановича за плотняное плечо, а правой полез за пазуху, сообщая попутно, что «ножик будет у него здесь» и что «оне», то есть дядя Фаня, «будут дергаться руками за веревочку (галстук), а говорить нича не будут».

Василий Васильевич уже собрался гаркнуть как следует на потерявшего чувство реальности «убивца», но тут подали голос часы. Издевательски легкий металлический звон раздался из них, и вслед задрезжала легкомысленная, в худшем смысле слова, немецкая музыка. Эти звуки подействовали на лапотного духовидца сильнее любого окрика. Он смолк, внутренне потух, опустил руки. Часы будто напомнили ему, что еще не время.

Тут, перебивая звон, раздался грохот. Это рухнула на пол Зоя Вечеславовна. Когда к ней бросились, наклонились, капающая расплавленным воском на лоб, из рта у нее еще шел дым.

Возникла, конечно же, суета. Одна Марья Андреевна осталась безжизненно спокойна.

– Обморок, – сказала она, – такое уж бывало.

Зою Вечеславовну подняли на руки и понесли в комнату. Тут же явились кувшины, полотенца, флаконы с нюхательными солями и т.п.

Аркадий вызвался съездить за лекарем.

Испуганный, растерянный Евгений Сергеевич, ломая руки, ходил по комнате, пытался поверх спин Насти и Груши взглянуть на бледный лик жены.

В это время Афанасий Иванович, стоя на уводящих в ночь ступеньках веранды, сжимая в карманах сюртука кулаки, спрашивал у медленно удаляющегося Фрота:

– Хорошо, где это будет, ты показал. И как будет – тоже. А когда будет, можешь сказать, братец, а?

Фрол остановился; видно было, что напрягся, пытаясь дать ответ.

– Нет, мы неграмотные.

И ушел.

Темнота выдала взамен него Калистрата, как бы хоронившегося за углом веранды. Что характерно, он тоже, как и Фрол, двигался бесшумно. Несмотря на сапоги. Улыбаясь грязноватым ртом, он сказал, глядя в спину невидимому плотнику:

– Куда ему, безголовица. Ему что давеча, что надясь, все одно, а вы о таком.

– Что ты говоришь? – с трудом стряхивая неприятное оцепенение, повернул к нему несчастную голову Афанасий Иванович.

– Говорю, что я, например, не таков. Например, надежно знаю, что через месяц идти мне на каторгу. А господам – смех и ничуть не интересно.

– Не понимаю я тебя, чего тебе надо?

Калистрат сокрушенно покивал.

– Да куды там понимать, да куды там.

Сказавши, развернулся, и темнота сразу предоставила ему убежище.

## ПЕРВАЯ ПОВЕСТЬ ОБ ИВАНЕ ПРИГОЖИНЕ

## Призрак

Чтобы развеять следы вчерашней попойки, я отправился на раннюю прогулку. За эти две странные недели я успел привыкнуть к Ильву и даже немного полюбить его. В рассветный час он был особенно мил и даже трогателен. По узеньким, чистым, плавно изгибающимся улочкам медленно текла прохлада, стук моих парижских каблучков далеко разносился по древним и дивным лабиринтам. Двух-трехэтажные дома сонно высились по обеим сторонам Обиличевой улицы, аккуратные и малоинтересные, как экспонаты скромного музея. Вена стояла здесь плечом к плечу с Прагой и смотрела в лицо Софии, Салоникам и Стамбулу.

По ювелирно выложенному бульжнику прогрохотала повозка с дарами утреннего огорода, пробежали посыльные мальчишки. Несмотря на спешку, они успевали драться на ходу и что-то жевать.

Вдруг сделалось светло и весело на душе от мысли, что я никому не нужен в этом городе, да и во всем мире. Даже прежним возлюбленным. С какой благодарной легкостью они, должно быть, обо мне забыли. И спасибо им за это. Никто во мне не заинтересован. Кроме матушки с батюшкой, но это, понятно, другое.

Я пошел быстрее. И вот Стардвор, монарший замок. Местные жители утверждают (а иностранцу в таких случаях спорить не стоит), будто это точная и лишь слегка уменьшенная копия замка Конопишт. Я бывал в резиденции легендарных Валленштейнов, но там мне никто не говорил, что Конопишт – это увеличенный Стардвор. Четыре угловые башни замка носили имена одновременно собственные и забавные: Непорочная чистота, Осторожная надежда, Плачущая принцесса, Скорбное молчание. Если прочесть их подряд, возникает в сознании мираж банального и печального сюжета. Впрочем, пустое.

Чтобы не мешать правителю Ильва князю Петру наслаждаться отдыхом после сладких мук, принятых им во время вчерашнего фейерверка, я свернул налево к набережной Чары. Тихая, как бы не вполне здесь признанная своею речка. Нависающие над водой кроны, незаметное глазу течение – хочет проскочить мимо столицы, не привлекая к себе внимания. В другое время я бы погрустил и помечтал вместе с нею, но сегодня мне было плевать на ее укромность и природную чистоту. Жажда деятельности, оставленная спящей на гостиничной кровати, нагнала меня на набережной.

Пора бы сеньору Лобелло сделать выбор между жизнью и смертью. Обстоятельства моей жизни были таковы, что у меня оставалось все меньше желания длить свое пребывание в этом городе.

Направился домой. И освеженный, и возбужденный. Другою дорогой. Мимо старых кожевенных складов, мимо квартала часовщиков, мимо педагогического приюта и, наконец, мимо «трансильванского» дворца, этого эклектического чудища, притягивающего последние пятьдесят лет тайные мысли жителей комнатной столицы.

На Великокняжеской в этот час было пустынно и шумно. За кирпичной стеной хором проснулся приют Св. Береники, полторы сотни хоть и детских, но луженых глоток объявили об этом миру. В Карлерузе я жил по соседству с католической школой, но мне казалось, что соседствую я с кладбищем. Размышляя о том, на-

сколько славянский человек непосредственнее германского, насколько больше жизненной динамики в недрах Балканского континента, чем имеется оной в расчисленных душах передовых наций, я подошел к «трансильванскому» дворцу. И остолбенел, отмахнувшись от своих легковесных размышлений.

Ворота – высокие, обитые потемневшими металлическими полосами, – мощные и загадочные ворота были открыты.

Я не знаю, почему встал на цыпочки и перевел трость в горизонтальное положение. Роскошные рассказы, касающиеся этого жуткого (не только в архитектурном плане) жилища, вскипели в моем воображении. Любой ильванин после третьей рюмки сливовицы считал своим долгом коснуться стен этой тайны. Грязным пальцем намека или скользким языком сплетни. Я охотно слушал всех, кто желал поговорить на эту тему, но понимал, что мне не дано проникнуть в Трансильванию тутошнего духа глубже, чем проникает подозрение или зависть.

Но ворота открыты!

Подкравшись, я заглянул.

Приютские голоса пели что-то народное, но неуместное в этот момент.

Удивление мое умножилось: огромный двор был заставлен кроватями. Самыми разными. Это не был мебельный магазин под открытым небом, кровати стояли как попало. Взбесившаяся антикварная лавка? Четвероногие друзья сна производили по большей части музейное впечатление.

Трудно было понять самое основное – эти мебели скопом покидают дворец в столь ранний час или атакуют его, надеясь вселиться?

Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я медленно вошел в это деревянное (и не только) скопище. Замирая, охая, хихикая, шурясь, приседая, я бродил внутри мебельного бреда под открытым небом и при отворенных воротах. Оказывается, не полностью сын провинциального архитектора остался равнодушен к навязанному ему отцом ремеслу. Какое-то специфическое удовлетворение вспыхивало в моем сердце, когда я узнавал: вот оно, тирольское ложе. Столь узкое, что невольно начинаешь мысленно примеривать его возможности к своим ночным привычкам. Поворачиваемся – бронзовое прибежище сновидцев на фигурных ножках, попирающих покорный камень. Навечно уложенная бронзовая же подушка отполирована так, будто ее еще вчера натирала шевелюра помпеянина. А эта вот низкая так называемая кагорсинская кроватка успокаивала какого-нибудь отвратительного ломбардского ростовщика. А резьбы-то, резьбы!

А вот еще что-то знакомое, и это вот тоже! Сколько же я успел узнать, сам того не желая!

Человек, роющийся в гардеробном шкафу, невольно примеривает взглядом висящие там фраки, я мысленно повалился на каждом ложе. Но мое веселое восхищение не могло длиться бесконечно. Как ребенок, желающий разломать игрушку, поразившую его воображение, я начал оглядываться в поисках человека, который мог бы мне объяснить, что все это значит.

Визг приютских ангелат за стеной подчеркивал безлюдность двора. Но эта ширма! Та, что высится среди моря кроватей. Старинная, гобеленовая, со слегка редуцированным сюжетом. Впрочем, главное можно понять: юноша, одетый по европейской моде столетней давности, бросается с кинжалом в руке на кого-то (этот «кто-то» как раз и скрыт в складке), сидящего на белом коне. Вокруг полно расшитых золотом мундиров и плотных ног в белых лосинах.

Но меня заинтриговала не ширма, а то, что было за ней. За траченной молью времени тканью билось человеческое сердце. Не просто человеческое – женское. Это выяснилось, когда я, встав на осторожные цыпочки, посмотрел поверх преграды. Спиной ко мне на плюшевом, заметно расплюсненном пуфе сидела весьма веселая дама в явно вечернем платье. И это почти что утром и почти что посреди улицы. Левой рукой она держала зеркало, правой поправляла перья, вонзенные в сложную волосную гору на голове. В той же руке у нее было слегка надкушенное яблоко.

– Доброе утро, – сказала дама спокойно, даже лениво. Я снял шляпу и начал, огибая преграду, речь-извинение: мне так неловко в столь ранний час, без всякого приглашения... Поскольку передвигаться я продолжал на цыпочках, вид у меня был, вероятнее всего, отвратительный.

Оказавшись лицом к лицу с сидящей, я смог ее рассмотреть. Ее честнее было бы назвать зрелой, чем юной, яркой, чем свежей, величественной, чем грациозной. Меня к тому ж слепили бриллианты, устлавшие грудь в вырезе платья. Кроме того, я все время кланялся.

– Кто вы такой?

Я, смущаясь окончательно, подумал, что вот уже пол-утра беседую с дамой, а до сих пор не догадался представиться.

– Пригожин. – И поклонился в четвертый раз. – Совершаю продолжительное путешествие с образовательными и познавательными целями, изучаю искусства и ремесла европейские. В частности, стили мебельного мастерства. Это отчасти мне кажется, извиняет ту непосредственность, с которой я ворвался... одним словом, вид такого количества антикварных предметов из области...

– Так вы русский? – спросила она на моем кровном наречии.

Выговор ее был верен и замечателен неуловимым среднеевропейским акцентом. Я онемел, ибо не рассчитывал услышать в столь отдаленных местах язык моей родины.

– Или вы все же русит?

– О нет, мадам, руситами называют жителей здешнего княжества. Они имеют не так уж много общего с моими соотечественниками. Кровь их не только славянская. Но отчасти валашская.

– Да? – Она равнодушно подняла бровь, роясь взглядом в зеркале, что-то рассчитывая извлечь для себя важное из него.

– Впрочем, такие подробности, верно, утомительны...

– А что значит ваше имя? То, что вы хороши собой?

Признаться, этот вопрос много добавил смущения моему состоянию. Но не только смущения. Опустивши голову, я сказал, что, если угодно, фамилия моя может происходить и от глагола «пригодиться», а также от малоупотребительного малороссийского слова «пригода», что значит – приключение. В общем, я не считаю возможным считать себя слишком уж ярким человеком, поскольку по матери я Серов. Я остался доволен своей светскостью. Настолько доволен, что посмел поднять глаза и задать вопрос:

– Отчего вы находитесь одна?

Вопрос был короткий, но, еще не закончив его, я понял всю его бессмысленность. А может быть, и дерзость. Дело в том, что двор кишел слугами. Красный кафтан, по-дворнически рыча, запирали ворота. Две пары дюжих ливрей разбирали



массивную кроватную раму на верхней ступеньке парадного крыльца. А внутри за распахнутыми дверями мелькали фартуки и юбки в вихре торопливого обустройства.

– Да, вы правы, одиночество – вещь скучная.

Она рассеянно замолкла, и я понял с ужасом – отчасти, конечно, веселым, – что судьба моя решена. По крайней мере на сегодняшний вечер. Отступать поздно. (Куда отступать? И почему?) Нужно было спросить себя, а я не спросил.

– Может быть, вы навестите бедную богатую вдову?

Я начал торопливо и многословно благодарить.

– Вас ждут сегодня вечером. – Она была так горделива, что говорила о себе в третьем лице.

– Сегодня вечером, – повторил я, испытывая приступ характерного мужского вдохновения, слегка перевитого иронической мыслью. Точнее сказать, самоиронической. Зачем-то я нужен этой сумасбродной богачке, примеряющей вечерний туалет посреди двора. Но мне зачем-нибудь нужно это приключение? Никто никогда не отвечает себе на подобные вопросы. Кстати, я ведь уже откланиваюсь, но так и не узнал имени хозяйки. Моя мысль была тут же прочитана.

– Вас приглашает мадам Ева, – донеслось из-за ширмы.

Визит можно было считать законченным.

Четыре парня, наряженных валашскими гайдуками, пронесли мимо меня черное устройство с ручкой в боку. Может быть, это специальная шарманка? Глядя им вслед, я лениво пытался понять, почему им так не идет балканский костюм. Наконец понял: все четверо были мулатами.

Я усмехнулся, навел голову шляпою, подтянул гетры и направился к воротам. Красный кафтан, отпиривший мне калитку, обдал меня духом эстергомского красного и частично вернул к реальности.

Не будучи уверен, что это нужно делать, я вложил в его ладонь четверть кроны. После чего оглянулся и увидел напоследок забавную картину. Моя собеседница устраивала выволочку покорно кланяющимся мулатам, указывая вырванными из прически перьями на черную шарманку. Что-то они не так с нею сделали.

Из дворцовых дверей выбежала горничная и что-то спросила у грозной хозяйки, в ответ в нее полетело недоеденное яблоко. Причем казалось, что мадам была недовольна горничной и яблоком в равной степени.

На всем пути от безалаберного дворца к приютившей меня гостинице я пытался объективно оценить утреннее столь пышно меблированное приключение. И ничего у меня не получалось. Одно лишь можно было утверждать с уверенностью: что приключение это отнюдь не закончилось. Оно только начинается. Переключились, господин Пригожин, на старушек, ха, ха, ха. До чего не докажишься от провинциальной скуки. Я дернул дверь «Золотого барана» и вошел, сопровождаемый мелодической истерикой медного колокольчика. Потребовал у слуги два кувшина горячей воды и четыре чистых полотенца в номер. Немедленно. Взбежал по скрипучей древнедеревянной лестнице на галерею и направился в левое крыло, расстегивая на ходу пуговицы спортивной английской куртки. Желание побриться сделалось нестерпимым. Я надеялся, соскоблив похмельную щетину со своих в меру впалых щек, наконец обрести себя истинного. А уж он-то, бодрый и свежий, разберется в планах на будущее.

Войдя в комнату, претерпел разочарование. На стуле подле бюро сидел все он же – то есть доктор Сволочек (не стану скрывать его имени!). На том одном основании, что он (вместе с доктором Вернером) пользуется маэстро Лобелло, моего доселе незримого наставника, он счел возможным взять надо мною опеку. Считалось, что он хороший врач и образованный человек. Первого мне, слава богу, проверить не удалось, второе я ощутил на себе в полной мере. Утомительнее всего были глубокомысленные беседы, к которым он имел склонность и пытался склонить и меня при каждой встрече. Судьбы Европы, судьбы славянства, роль личности в глобальных исторических процессах – вот основные темы разговоров. Не чужд ему был легкий мистический уклон. Он во всем пытался увидеть «великое предзнаменование» и призывал меня смотреть вместе. Я соглашался лишь из боязни его обидеть. Иногда у меня появлялось ощущение, что доктор знает нечто важное и все время присматривается ко мне, решая, стоит ли передо мною открыться. На меня его тайны, по правде сказать, наводили тоску.

Сегодня он торжественнее и значительнее обычного. Он всегда одевался тщательно, а в этот раз вообще – черная визитка, крахмальные воротнички с алмазными капельками в углах отворотов. Подбритые бачки и разумная грусть в больших серых глазах. Что-то случилось, понял я.

Доктор поднял красивые деликатные руки с янтарного набалдашника своей трости и обнял меня за плечи. По-отечески. Мы расстались с ним менее десяти часов назад, поэтому такие нежности не могли не вызвать удивления. Он явно изготавливался для очень важного со мною разговора.

А-а, догадался я и сокрушенно шмыгнул носом.

– Наш маэстро скончался?

Доктор столько странного и даже поразительного рассказывал мне о сеньоре Лобелло, так восхищался его способностью проникать в суть вещей, что я не удивился тому, что маэстро решил уйти, не удостоив меня свиданием в этой жизни. Кто я ему?

– Что вы такое говорите?! – Доктор отпрянул от меня. – Я был у него сегодня утром!

Черт, ошибся! Как неловко. Мне пришлось выразительно закашляться, избравшая сильное смущение. Не дай бог, доктор подумает, что я способен шутить на такие темы, да еще в связи с такой уважаемой личностью.

Он все-таки подумал.

– Весьма прискорбно, молодой человек, весьма!

И тут внесли кувшины с горячей водой. Я, чтобы, так сказать, сменить тему, бросился к несессеру, хранившему мои бритвенные принадлежности, и с такою скоростью извлек опасное лезвие, будто хотел тут же покончить со своей бесполезной и дерзновенной жизнью. Опять получилось неловко: чтобы заглядить, попытался улыбнуться виновато, но, поскольку вины своей не чувствовал, улыбка вышла, видимо, беспутной, а может, и наглой.

Благороднейший доктор несомненно решил, что этот заезжий русский дуралей продолжает при помощи бритвы заигрывать с деликатной темой, и оскорбился не на шутку. Обида выражает себя церемоннее других чувств. Доктор двинулся вон из комнаты, безапелляционно цокая тростью. В дверях произнес:

– Поздно, уже поздно. Вы, по всей видимости, успели зайти достаточно далеко по этому пути. Тут уж ничего не поделаешь. Прошу вас на правах человека,

чувствующего ответственность за наше будущее: постарайтесь оставаться благо-родным человеком. Не оскорбляйте своими ужимками величия того, что должно совершиться.

Я остался стоять над горячим кувшином с голым лезвием в руках. Ну, вот что он мне сказал – или хотел сказать? Одно ясно: что-то случилось.

Тем не менее я побрился.

И даже с удовольствием. Я стоял перед темным гостиничным зеркалом фривольно оперируя при помощи двух пальцев собственным носом – вправо его, влево, вверх. Оставшись довольным его постановкой на лице, я поощрил несколькими шлепками юношеские свои ланиты. Одеколон так и запылился на них и ударил в мозг, как шампанское. Что ни говори – хорош мордаш. Нет, мордаш – это, кажется, про собак. Тем не менее хорош. И лоб, и каштановая волна поверх, и глаз затаенно сияет. И тут рядом с образом цветущей юности появляется на просторах амальгамы физиономия совсем в другом роде. Широкая, красная, нос бугристый, глаза навывкате и притом испуганные. Хозяин гостиницы, вуаля.

– Прошу прощения, что осмелился.

Я обрадовался ему не больше, чем Хлестаков появлению городничего. Не плачено было уже за пять дней. Единственным моим финансовым документом было письмо батюшки, в коем говорилось, что деньги высланы. Письмо мсье Саловону было предъявлено, оно его отчасти успокоило, несмотря на то что жилец величался там «ленивцем» и «разгильдяем». Возможно, мсье Саловон решил, что таким образом обозначается принадлежность к купечеству первой гильдии.

Нет, слишком заметно, что явился он не по денежному делу. Он испуган. Я мгновенно проникся уверенностью в себе.

– Если уж вы вошли... тем более без стука...

– Я не хотел обращать на себя внимание. – Хозяин затравленно оглянулся.

Не отказав себе в удовольствии еще раз похлопать себя по щекам, я сел в кресло и предложил почтенному ненавистнику всего малороссийского взять место напротив. Но ноги у него не гнулись, он остался испуганно стоять.

– Когда до меня дошли эти слухи, мсье Пригожин, я расстроился. – Он опять оглянулся и с подозрением посмотрел в сторону шкафа.

– Три сюртука, пятнадцать сорочек, больше там ничего нет. А что за слухи вы имеете в виду? – Разговор сделался мне неуволимо приятен, я решил совместить приятное с полезным, взял пилочку для ногтей и занялся левым мизинцем.

– Вы идете в гости к мадам Еве? – выдохнул старик.

– А вы хотите мне отсоветовать?

– Именно есть так. Поверьте пожилому человеку, которому не за что желать вам зла, – не надо вам к ней ходить.

– Отчего же?

Страдание выразилось в лице полнокровного старика, он перешел на шепот последней степени шершавости:

– Мне кое-что известно об этой госпоже. Она посещала наш город. Она снимала тот же дворец, что и в этот раз, и провела в Ильве около четырех месяцев. И знаете, почему должна была покинуть город?

Я махнул пилочкой: говорите уж.

– Поползли слухи.

– Так и знал.

– Поползли слухи, что она родственница того самого князя Влада. Знамени-того. Какая-то дальняя потомца. Родство якобы не самое прямое, но безусловно достоверное.

– И чем же родство это нехорошо, чем запятнал себя этот князь?

Мсье Саловон закрыл глаза. То, что он хотел сообщить, можно было проговорить только в темноте.

– Кровью.

Я внимательнейшим образом осмотрел свой мизинец и пришел к выводу – хорошо! На очереди был ноготь безымянного.

– Знаете, если по этому принципу рассматривать...

– Вы не поняли главного.

– Ну, так скорее сообщите мне, что есть это главное. – Я начал нервничать и не считал нужным это скрывать.

– В истории края, граничащего с нашим княжеством, князь Влад известен как кровавый, страшный человек. Он известен под именем Дракулы.

Хозяин гостиницы потерял сознание от своей смелости и по чистой случайности остался стоять на ногах.

– Так бы сразу и сказали – Дракула! – с вызывающей (специально) громкостью произнес я. – А мадам Ева – родственница Дракулы?

– Умоляю, тише, вы меня можете убить этими словами.

– В самом деле, эту чушь лучше нести шепотом, – аффективно прошептал я. С впечатлительным «трактирщиком» пора было кончать. – Вы что же, сами видели мадам Еву?

– Собственными глазами.

– В тот приезд?

– В тот, в тот. И, будучи довольно молодым человеком, пленился. Ходил по улицам без памяти чувств. Но, происходя из сословия... вы меня понимаете, не имея даже тени шансов...

– То есть как, – вскричал я, радуясь, что поймал его на очевидной глупости, – «будучи молодым человеком»?!

– Именно, мсье Пригожин, это было перед последней Русско-турецкой войной.

– Русско-турецкой?

– Да, в 1877 году. Она была прелестна. Я бы совсем сошел с ума, но меня отрезвили эти слухи. Они усилились, когда в Чаре нашли два мужских трупа с характерными ранками на шее и обескровленные совершенно.

Он надоел мне нестерпимо.

– О Балканы, Балканы! Так вы утверждаете, что мадам Ева была в 1877 году прелестной молодой женщиной? Лет двадцати – двадцати пяти?

– О, мсье Пригожин, была, была прелестной!

– Как же она должна выглядеть теперь, в году 1914 м?

Он замолк. Началась мучительная возня морщин на лбу. Старик был смущен, а я не желал быть великодушным.

– Мне довелось побеседовать с нею час примерно назад и видеть ее, стало быть, своими собственными глазами. Она не юна уже. Вместе с тем я убежден, что если она и участвовала в той войне, то на стороне мокрых пеленок.

Саловон смотрел мимо меня. Надо признать, весьма тупо.

– Как хотите, дорогой мой, передо мною встает выбор: или верить вашим сбивчивым словам, или своим голубым глазам.

– Знаете, мсье Пригожин, вы не могли видеть мадам Еву. У меня есть сведения, что она еще не приехала. Ее ждут к вечеру, к самому приему.

– А с кем же я тогда разговаривал? От кого получил приглашение? – спросил я и, естественно, расхохотался.

И снова стук в дверь.

Нетерпеливый, даже наглый. Это не слуга.

Я вымолвил «войдите» уже ему в лицо. Высокому, плечистому, отчаянно усатому офицеру. Погоны, правда, отсутствовали, но китель не давал обмануться. Отставники часто шьют себе такие. Выправка соответствовала амуниции. Что немного портило его внешность, так это рваная и приблизительно сросшаяся ноздря. Рвать ноздри? Кажется, такого наказания давно нет нигде в Европе.

– Алекс Вольф, – представился он чуть-чуть угрожающе. Сзади на сапогах у него богато звякнуло. Шпоры по своей лихости годились в родственники усам.

– Пригожин.

– Являюсь вашим соотечественником, мсье. Ввиду этого обстоятельства позволил себе вот так, по-простому, с визитом.

– Вольф? – зевнул я. – Соотечественник? Говорят, правда, что встречаются немцы, носящие фамилию, например, Иванов... Впрочем, есть у меня один знакомый немец по фамилии Вернер... – Я понял, что не знаю, к какой мысли хочу вывести эту речь, но гость, кажется, достаточно понял ее для того, чтобы оскорбиться. И за Вольфа, и за немцев. Он агрессивно подкрутил усы и расставил шпоры пошире.

– Вы, я вижу, позволяете себе насмехаться над вещами...

– Ни в коем случае. Ни, ни, ни! Я не желал вас обидеть. Весьма, весьма рад встретить здесь соотечественника.

Офицерский взор стал тусклее. Вольф сложил руки на груди и поднял бровь. И без того выразительную.

– Уверяю, – я улыбнулся, – очень, очень рад вас видеть.

Что-то подсказывало мне, что с этим господином лучше не ссориться. Тон мой был настолько примирителен, что даже заядлый бретер счел бы его достаточной сатисфакцией.

– Хорошо, тогда едемте обедать. У меня и лошади готовы. В венгерский трактир. Гуляшик, чардашик и несколько хороших мордашек. Устроим небольшой раскардашик.

Не сразу я нашелся, что ответить. Каков он – офицерский обед, я знал слишком хорошо. И в трое суток не уложиться.

– Вы отказываетесь? – зашевелились усы.

– Но я не одет.

– Жду за дверью, – обрадовался он, приняв мои слова за согласие.

– Может быть, вы подождете меня прямо в трактире? В венгерском.

– Что-о?

Он уже на меня кричит, подумалось с тоской.

– Я не могу допустить, чтобы вы заблудились в переулках этой дрянной столички. У меня дрожки. Или вы привыкли разъезжать в авто? – Последний намек остался мне непонятен.

– Польщен вниманием вашим, однако ж окончание туалета хотел бы совершить в одиночестве.

На несколько секунд я остался один.

За это время нужно было решить, что предпринять, и понять, что, собственно, происходит.

Офицер вставал у меня поперек горла со своим обедом. Отказаться же после того, как выразил (не важно, что невольно) согласие ехать, – это поединок. Усаж по виду стрелок не из последних. Все же как широко распространились русские по свету, нипочем не сыщешь свободного от соотечественника уголка!

– Вы готовы? – Нетерпение за дверью.

– Повязываю галстук.

Что ж, едем. Только ни в чем ему не противоречить. Странности начались, стоило нам выйти из трактира. Не оказалось заявленных дрожек. Их не украли, как я понял, господин офицер вплеп их в приглашение для шика. Или был уверен, что приглашаемый откажется от венгерского обеда?

Гостиничный мальчишка быстро добыл нам экипаж.

Я поставил свою монмартрскую трость меж бежевых колен, опираясь рукою на нее, другой я придерживал опять-таки парижского сочинения цилиндр. Может статься, что во дворец придется отправиться прямо из офицерского раскардаша.

– Вы ведь недавно в здешних Палестинах, господин Пригожин?

– Недавно.

– Всякое место наскучивает рано или поздно. Маленькие городки имеют здесь преимущество перед парижками.

Я безропотно согласился и с этой неуловимо путаной фразой.

– Но у вас все впереди.

– Надеюсь, лишь то, что мне не вредно.

– Что вы имеете в виду? – ощутило напрягся Вольф. – Что я хочу свергнуть вас в неприятности?

Еле-еле я сумел успокоить его и положил себе впредь держаться еще осторожнее.

В трактире никто нас не ждал. Бродили меж пустыми столами скучные официанты. Место для румынского (в венгерских заведениях всегда играют румыны) оркестра безнадежно пустовало. Но стоило офицеру спросить «шикарный» обед, заведение стало оживать. Господин Вольф был сверхъестественно разборчив. Четыре скатерти заставил сменить. Закуски были все им возмущенно забракованы. Бледный, как мертвец (от злости), метрдотель велел принести новые. Они не были похвалены, но хотя бы допущены к столу. То же с винами. Местное ильванское (весьма недурное) он громко назвал помоями. Метрдотель покраснел и прикусил верхнюю губу. Остановился он на шато роз, сабли и мозельвейне. На мой взгляд, сопряжение этих напитков не обнаруживало тонкого вкуса. Однако бровь, которой я имел право повести, осталась на месте. Выпили тост первый. За государя императора, как и положено. Я это сделал внешне охотно, чем дал повод для офицерского удивления. Он полагал найти во мне либерала и задеть своими словами?

– И вы всерьез считаете, что правящий наш дом достоин того, чтобы за него пить?

– В том случае, если вы поднимаете тост за, – да! «Может, сделаться дипломатом?» – подумал я, мысленно любуясь хитроумием своего ответа.

Вольф мрачно наполнил бокалы. Происки на политические темы пришлось ему оставить, с какой стороны теперь зайдет?

– Но не кажется ли вам, господин соотечественник, что наш русский характер, в общем-то, дрянь и нас, русских, лучше за границу вообще не пускать? Ничему не научимся путному. Что поймем, то неправильно используем. А пуще всего способны лишь нахамить, как я давеча главному здешнему подавальщику. Возможность нахамить – лучшее утешение для души нашей.

– Я не вполне уяснил, в чем смысл тоста, прошу меня великодушно простить, мсье Вольф. – Тост простой. – Он поднял бокал с густо-красным напитком и прищурился так, будто был способен видеть сквозь такие препятствия.

– Выпьем, мсье путешественник, за то, чтобы никого из нас, ни одного русского хама и на пушечный выстрел не подпускать к Европе.

– Охотно, тем более что я лично делом могу ответить на ваше мудрое предложение. Через неделю, самое большее – две имею отбыть в родные пенаты. И собираюсь впредь пребывать там безвыездно.

И я с наслаждением выпил.

Вольф только отхлебнул, изувеченная ноздря его дернулась.

– Но признайте, только честно будьте до конца, что Россия – непригодное место для житья. Пустейшее и грязнейшее. Моды – дичь! Дороги – канавы! Народишко – или раб, или бандит!

– С огромнейшим сожалением покидал я Париж, эту столицу просвещенного мира.

Соотечественник шумно втянул воздух, чтоб подпитать мыслительный пожар в своей голове.

– Откуда вы родом, господин Пригожин?

– Из Костромы.

– Подлейший город!

– Часть России, – равнодушно пожал я плечами и придвинул к себе блюдо с дунайскими креветками. Вольф вытащил салфетку из выреза жилета, несколько секунд мял ее, будто стараясь выдавить хоть немного яда для нового вопроса. Чтобы дать себе краткую передышку, я поднял бокал и предложил осушить его за родителей. Безобиднейший из предметов. Но с собеседником сделалось что-то страшное.

– Вы что, знакомы с моим родителем?

– Не имел ни чести, ни удовольствия.

– Так зачем его упомянули?

– Принято и приятно выпить за отцов наших.

– А откуда вы знаете, что он у меня вообще есть?

– Ежели он окончил дни свои, приношу вам глубочайшее соболезнование.

Вольф задумчиво прокашлялся.

– Вы, может быть, считаете моего родителя бездарным писателем?

– Ни в коем случае.

– Вы считаете, что у него безыдеоматический язык, что он пишет как бы на эсперанто?

– Нет, нет, нет!

– Тогда выпьем. Что вы можете обо мне знать? Ничего! Когда-нибудь узнаете. Если доживете.

– Прошу прощения, мсье Вольф, мы будем пить за здоровье или все ж таки за упокой?

– Мой отец жив. Но Бог с ним.

– Бог, – безропотно согласился я.

– А кто ваш родитель?

– Увы, – я развел вилкой и ножом, – костромич.

– А по профессии?

– Архитектор.

– Вы небось считаете, что архитектура – это застывшая музыка и прочее?

– Нет, что вы, я ничего в архитектуре не понимаю и не считаю ее каким-то особенным занятием.

– Так зачем ваш отец ею занялся?

– Вообще-то он хотел по бочарной части... просто так получилось.

– Не хотите ли вы сказать...

Я блестяще справлялся со своей ролью, демонстрируемая мною изобретательность и изворотливость поражали меня самого. В течение получаса, в течение полутора часов я оставался неуязвим, я начал уже находить своеобразную приятность в моем состоянии, когда вдруг (абсолютно вдруг) обнаружил господина Вольфа схваченным обеими моими руками за горло, а в душе страшное, испепеляющее желание задушить его немедленно и окончательно. Наше немое (я даже хрипов не выпускал из его горла) объятие длилось достаточно долго для того, чтобы глаза соотечественника вылезли из орбит, кровь налила голову, а мы успели почти бесшумно переместиться из центра трактира к оркестровому возвышению. Вокруг нас собралась толпа причитающих слуг. Дунайские криветтки щедро устлали наш путь.

Я что-то кричал.

Наконец тренированный оскорбитель, собравшись со всеми своими силами, одним отчаянным движением высвободился из смертельного ошейника и отшвырнул меня на несколько шагов. Сам он слепо рухнул в кресло, угодливо забежавшее ему за спину, а меня схватили за предплечья несколько десятков пальцев.

Лицо Вольфа было зверски искажено, колонии разноцветных пятен путешествовали по нему, усы были размазаны по щекам, рваная ноздря храпела, как атакующий эскадрон.

Я был убежден, что вложенных в его удушение усилий было более чем достаточно, чтобы прервать его земное существование, однако же негодяй был жив. И выглядел довольным.

– Дуэль завтра на рассвете, в парке за Стардвором.

Не помню, кто это сказал. Я или он.

Выйдя из трактира (все еще в сильнейшем возбуждении), я обнаружил, что уже решительно темнеет, – сколько же часов ушло на выслушивание оскорблений из усатой пасти этого сумасшедшего? Небось меня уже ждут. Я отправился по известному адресу.

Полностью нелепость и даже опасность своего положения я осознал, лишь поднявшись на крыльцо щедро иллюминированного дворца. И остановился перед лицом сильного сомнения. Стоит ли погружаться еще глубже в этот столь странно



ведущий себя мир? Но лакеи уже начали мне кланяться как окончательно прибывшему, а впереди прозвучало торжественное объявление: «Мсье Пригожин!» Я вошел, оглядываясь. Танцевальная зала поразила бы воображение поустойчивее моего. Белые колонны по всему периметру. В паркетном озере отражались тысячи свечей. Гудели голоса, постанывал под потолком на особой площадке оркестр, возглавляемый невероятно кудлатым и очень талантливым на вид капельмейстером. За распахнутыми в разных направлениях дверьми виднелись фруктовые кондитерские и винные пирамиды – буфеты, буфеты и еще раз буфеты.

Хозяйка пока отсутствовала, поэтому, никому не представленный, я решил скрыться где-нибудь в укромном месте. Например, с бокалом медленно выдыхающегося шампанского.

Обмакивая губы в колючий напиток, я тихо глядел по сторонам, рассчитывая встретиться глазами с хозяйкой. Не знаю, зачем мне это было нужно, что я мог ей сказать? Что попал в историю, из которой рискую не выйти живым? Что не хочу заканчивать свою жизнь на задворках старого сарая, именуемого Стардвором? Я мог бы ей сказать, что хочу домой к матушке и отцу. Что долг чести не смеет требовать всю мою молодую жизнь в уплату. Как назвать поведение этого психопата? Мне неинтересно, благороден ли он и даже прав ли! Я хочу понять, почему матушка-старушка должна рыдать над хладным трупом юного сына оттого лишь, что на какого-то маловразумительного, надуманного типа нашло желание бретировать!

Дуэль сия бессмысленна. И честь не задета, ибо я даже не помню, острием какой именно колкости он попал в нее. Стало быть... Стало быть, я имею полное право удалиться. Не только из иллюминированного этого хаоса, но и из города. Дорожные мои бумаги выправлены до самого Петербурга. Матушка, батюшка, Отечество! Очи мои увлажнились. Я оглянулся – куда бы поставить ненужный стакан, и тут увидел перед собою незнакомое, но, кажется, живо во мне заинтересованное лицо. Это был среднего роста крепыш в длиннополом фраке с атласными лацканами и в белой манишке. Квадратный прыщавый лоб, широко, по-коровьи посаженные глаза. Большая капля пота в кожаной складке на переносице.

– Я слышал, вы деретесь завтра утром? – спросил он. Смотрел он прямо в мои сыновние слезы. Чтобы этот немец не понял меня правильно, я отхлебнул большой глоток шампанского, демонстративно промокнул влагу платком и пояснил:

– Очень крепкое. Прямо прошибает...

– Позвольте представиться. Штабс, капитан.

Подождав несколько секунд, я осторожно (хватит с меня одной дуэли) спросил:

– А, виноват, имя ваше? – что мне, собственно, до того, что он в столь молодые годы уже при хорошем чине.

– Капитан Штабс, – сказал он громче, и подбородок его дрогнул, – военный атташе здешнего германского посольства.

Бывают люди, для которых их звание – фетиш. Что же сказать в ответ?

– Я человек частный (фамилию, кажется, не стоит называть). Путешествую, изучаю искусства. Живопись, ремесла. Мебель.

Немец наморщил лоб и промокнул каплю на переносице.

– А зовут вас как?

– Пригожин Иван Андреевич. А вас?

– Значит, это вы деретесь с господином Вольфом? Когда мне показали вас, я удивился – такой не воинственный вид.

– Не только вид, у меня и сердце не воинственное.

– Теперь же я удивляться перестал. Вы способны разозлить кого угодно. Даже такого одухотворенного человека, как Алекс.

Я еще отхлебнул шампанского.

– Своею обходительностью он довел меня до того, что тому назад не более часа я душил его обеими руками. И жалею, что не задушил.

Пруссак надменно откинул голову. Все, убежать придется от двух дуэлей сразу.

– Вы пытаетесь намекнуть, что господин Вольф...

С тоской почувствовал я, что скатываюсь в невидимую, но неотвратимую пропасть. Любая фраза усугубляла мое положение. К счастью, судьба выделила на мою долю спасителя: появился из-за соседней колонны невысокий, с морщинистой лысиной и дряблой личиной господин. У него плюс к указанному были огромные выпуклые брови, очки и развязность в движениях. Если бы он назвался господином Шимпанзе, я бы не удивился.

– Терентий Ворон, здешний газетный волк, – очаровательно гримасничая, сообщил он. Взглянув на нас, он мгновенно понял суть дела и с налета с помощью трех-четырех фраз сначала смягчил противостояние, а затем и вовсе рассеял. Немец, недоверчиво набычившийся при его появлении, через минуту сам громко соглашался, что это довольно забавное соединение: фамилия Штабс и звание капитан. Чтобы окончательно его умаслить, господин Ворон поведал мне историю семейства Штабсов. Оказалось, что капитан своеобразно родовит. Прямой его предок, швабский студент, с длинным кинжалом набросился на императора Наполеона. Ажиотация его происходила от патриотических речей господина Фихте.

– Ну и как, покушение было удачным?

Ворон шутку оценил и, криво улыбаясь, отвернулся.

– К сожалению, нет, – сказал капитан, и было видно, что действительно «к сожалению».

– Его высочество князь Петр с княгиней Розамундой!

– Вот поэтому наш род не так знаменит, как род Брутов.

Тогда до меня не полностью дошел смысл этого замечания. Я наблюдал появление правящего семейства. Кривоногий человек с огромной лысой головой, украшенный, как рождественская елка, вел под руку высокую, вроде бы стройную, но слегка неустойчивую даму. Длинное платье, сошедшее прямо со страниц «Журнал де демуазель» 1904 года, скрывало неуловимый дефект походки.

За спиной раздался бравый баритон Штабса:

– Княгиня принадлежит к роду Гогенцоллернов!

У газетного волка было свое мнение на сей счет:

– У этой замечательной четы общая кличка – «отдаленное родство».

Я решил, что мне в такой ситуации разумнее всего промолчать.

– Его высочество – представитель местной руситской династии Кнежемировичей. Раз пять ее свергали, когда Ильванию присоединял кто-либо из более сильных соседей. При обретении временной, почти всегда условной свободы ее возводили на престол вновь. За неимением другой.

– Ну а кличка?

– Князь Петр состоял в плохо подтвержденном родстве с сербским королевским домом Обреновичей, а супруга его – четвероюродная племянница кайзера Вильгельма. Правда, Кнежемировичам есть и самим чем похвастаться. Существует гордая историческая легенда, по которой примерно тысячу лет назад князь Руст дал отпор венгерскому предводителю Арпаду, из-за чего мадьяры не пошли на юг, а повернули в Паннонию. Но, думаю, в памяти любого народа полно подобной малодостоверной чепухи.

На его месте последней фразы я бы не произносил.

Капитан, кажется, держался того же мнения, но молчал. Зубастый газетчик, однако, и не думал останавливаться.

– Существует и другое истолкование клички. Дело в том, что с самого момента брака князь и княгиня ни разу не спали вместе. Князь импотент из-за перенесенной в детстве свинки, а княгиня...

Капитан недовольно кашлянул.

– Впрочем, о ней вы многое поймете сами.

Я тихо поинтересовался у господина Ворона, не боится ли он, что у здешних стен есть уши.

– Уши у них, может быть, и есть, – держась все того же нагло-беззаботного тона, отвечал он, – зато абсолютно нет мозгов. Тайная полиция княжества состоит из десятка кретинов, причем все они находятся на содержании у немецкого посольства.

Капитан покашлял то ли смущенно, то ли польщенно.

– А вот и мадам Ева, – восторженно сказал Ворон. Навстречу высокородным гостям вышла хозяйка. Встав со своего раздавленного пуфа, она сильно выиграла в моих глазах. С особой артистической грацией несла свою сложную прическу. Но одеяние ее... как бы это определить... на общем чопорном фоне смотрелось слишком экстравагантно. Псевдоантичная туника, удлиненный складчатый пеплос, сандалии с позолоченными ремешками. Вместо утренних перьев в каштановых волосах – диадема. Дорогостоящая фантазия из мастерской самого Поля Пуаре.

– Актриса, все же она великая актриса. Такой женщине можно все, – хрипло пел Ворон.

Публика была отчасти в обалдении, отчасти в восторге.

– Напрасно она так, – процедил капитан, – нельзя выглядеть настолько... м-м... необычнее монархини. Мадам прибыла сюда не на прогулку. У нее денежное дело к князю.

Княгиня позеленела, как тоска, подумал я, но скрыл свое наблюдение.

– Пойдемте, мсье Пригожин, вас надо представить остальным гостям.

– Может, можно уклониться от этой процедуры?

– Это обязательное условие, – отрезал журналист.

На мечтающих о бегстве ногах я побрел в гущу событий. К главным мучениям тут же добавились частные. Мой облик джентльмена полусвета жалок был пред блеском истинного аристократизма. Серому сюртуку надо оставаться на окраинах раута и там тешить себя размышлениями, что внутренняя независимость ценнее дипломатического фрака.

– Граф Консел, – так отрекомендовал мой капитан сухощавого старичка с мертвенно-желтым лицом и вертикальными аскетическими морщинами на щеках.

Граф посмотрел на меня. Зеркала души его обильно слезились. Я испытывал в этот момент приступ только мне свойственного ужаса. Мне послышалось, что его называли «граф-консул», и я понял, что не могу определить, где здесь звание, а где фамилия.

– Граф – первейший здешний меценат и благотворитель. Его, например, радением был устроен недавно детский праздник в ратуше.

– До свидания, граф, всего вам наилучшего, – перебивая капитана, увлек меня далее Ворон.

– Почему вы не представили меня ему? – без всякой обиды поинтересовался я.

– А что я, по-вашему, только что сделал? – удивился капитан.

– Вы же не назвали ему мое имя.

Газетчик хихикнул.

– Он бы тут же забыл его, и при следующей встрече вам бы было неприятно. Вздорный старик, маразматик. Вечный шпион австрийского генштаба. Я повторяю: маразматик, но Вену он совершенно устраивает. Вы знаете, пару раз князь Петр, заговорившись, прилюдно передавал через него привет генералу Гарденбергу, начальнику тайной венской канцелярии, а граф при этом продолжает считать себя глубоко законспирированным агентом. И венцы ему верят. Невзирая на свой возраст, является частым и желанным посетителем местного дома терпимости. Там, по словам девиц, он демонстрирует редкий сексуальный прием – «русский казачок». Знаете такой?

Я успел только помотать головой. Капитан громко сказал:

– Прошу прощения, сэръ!

К нам повернулся длиннолицый тучный дылда лет пятидесяти с волосами до плеч.

– Посол его величества короля Георга Пятого сэръ Оскар У. Реддингтон. Рекомендую моего друга господина Пригожина из России. – Я пожал огромную и мягкую, как перина, руку.

– Вояжируете? – спросил он меня по-французски.

– Из России в Россию.

Рыхлая громадина, кажется, сочла меня человеком, любящим пошутить. Впрочем, мне было плевать на то, какое я произвел на него впечатление.

– Двери британского посольства всегда открыты для вас, молодой человек.

Приглашение выглядело политически двусмысленно, но я поблагодарил: уверенность, что я никогда им не воспользуюсь, позволила мне чувствовать себя с печальным гигантом на равных.

– Неприятный тип, – стоило нам отойти, заявил Штабс. Пруссак не мог держаться о британце другого мнения.

– Скорее грустный, – слабо возразил я.

– Вы наблюдательны, – неожиданно похвалил меня Ворон. – Недавно похоронил своего старого любовника. Безутешен, и, что самое главное, – искренне. Правда, есть сведения, что вот-вот влюбится в пару очаровательных пареньков. Одновременно плетет сеть заговора, в этом все уверены. Имейте в виду, мой друг, вы ему приглянулись.

– Немцы жестоки, но сентиментальны, а англичане остроумны, но гомосексуалисты, – сделал несколько не идущее к делу сообщение Штабс. Когда мы на него

посмотрели вопросительно, он дал ничего не объясняющее объяснение: – Ведет себя, будто является потомком Ричарда Львиное Сердце, а сам – все знают – получил титул от отца – смотрителя тюрьмы.

– Мсье Делес! – воскликнул журналист и хищно заулыбался.

Подошедший к нам субъект был очень мало похож на типичного француза – рыжий, кудлатый, веснушчатый, с очень тонким и очень горбатым носом. В облике его чувствовалась общая легкая ненормальность, трудно было только определить, опасного она свойства или нет.

– Господин Пригожин, мсье Делес, – сухо произнес капитан. Француз был явно ему несимпатичен.

– Зовите меня просто Ксавье.

Я поклонился, но не разрешил ему называть меня Иваном. Отчего-то мне показалось, что его не следует подпускать к себе слишком близко.

– Знаете, чем интересен мой друг Ксавье? – болтал Ворон. – Своим оригинальным извращением. Он негрофил.

Я воспитанно молчал, капитан тихо пыхтел носом, пасть француза весело распахнулась, показывая отличные зубы.

– В самом деле, некоторое время я провел на Гаити, где пытался возродить традиции Туссена-Лувертюра, черного президента. И правительство, и общественное мнение впечатляются, когда за права негров борется белый.

– Вернее, рыжий, – поправил журналист, и все засмеялись.

– Но, как это часто бывает, самым большим препятствием на пути к освобождению черных оказались сами черные. Они любили, любили меня, а потом решили меня съесть. Поэтому я здесь. Когда мы с ним расстались, я узнал о нем вот еще что.

– Говорят, правда, очень глухо, что не очень-то он там боролся за права негров. Снимал кино. Не совсем обычное. По крайней мере местные жители, когда увидели кусок его фильма, тут же решили его зарезать. Интересно, что за кино он собирается снимать здесь? Еще суждено мне было познакомиться в этот вечер с паном Робертом Мусилом, толстым коротышкой в пуленепробиваемых очках. Ни за что нельзя было догадаться, какие мысли бродят за этими стеклами. Похож он был на уменьшенную копию Собакевича и всем своим видом показывал, что не даст себя надуть.

Характеристика господином Вороном ему была дана такая:

– Очень солидный делец и очень большой подлец. Одно слово – заводы «Шкода». Нет, получается два слова. У них пять тысяч готовых гаубиц на складе, а князь почти согласился с доводами своих генералов, что его армия нуждается в перевооружении.

Зачем он мне все это рассказывает? Пусть лучше Штабсу, ему вон как интересно! Каждый новый военный или придворный секрет казался веревкой, призывающей меня к здешнему миру.

– Луиджи Маньяки!

Даже описывать не хочу, ибо кому не известно, как выглядит сорокалетний итальянец.

– Вообще-то тут, в Ильве, подвизается целая троица этих братьев. Один шьет, другой поет, третий торгует, – плел Ворон.

– Понятно.

– Что вам понятно, мой юный друг? Больше никому не понятно, зачем было устраивать итальянской разведке всю шпионскую сеть из одних братьев.

– Да уж, – саркастически произнес капитан, и я решил не вдумываться, в чью сторону направлен сарказм.

– Вот еще две замечательные фигуры. Видите, там, возле фруктового буфета, человека в серо-голубом мундире – господин Иван Сусальный, начальник криминальной полиции. Большой патриот и большой идиот. Замечателен своими пшеничными, до пола, усами.

Усы действительно были пшеничного цвета и весьма изрядной длины.

– Впрочем, о свойствах местных полицейских я вам, кажется, уже сплетничал. Рядом с ним господин с бородкой, Виль Паску, газетная змея, пригретая на груди княжества. Знаменит афоризмом: «Хорош только мертвый журналист».

– Такой афоризм больше подошел бы начальнику полиции, – заметил Штабс.

– Не-ет, тут имеется в виду, что если журналиста убили, значит он был неподкупен. Всем известна беспримерная продажность этого литератора, и в афоризме сам он ернически и цинически в этом признается. Лучше быть подкупленным, но живым, чем неподкупным, но мертвым.

– А это...

– А это я, – иронически сказала крупная, строго, даже строжайше одетая пятидесятилетняя примерно тетка, появившись из-за колонны.

– Мадмуазель Дижон, – в один голос сказали капитан и журналист, кланяясь с чуть чрезмерной почтительностью, – конфидентка хозяйки этого очаровательного праздника.

– А вы, стало быть, тот самый молодой человек?

– Тот самый, тот самый, – заверили ее.

Большие, черные, чуть навывкате глазищи, про такие всегда думаешь, что где-то их видел. Иван Андреевич поклонился. Распрямившись, увидел только спину лилового жакета и жесткий узел на затылке.

– Кто эта женщина?

– Как вы, наверное, слышали, это не женщина, – хихикнул журналист, – но весьма влиятельна, и даже с загадкой. Мало о ней известно, но желательно поддерживать хорошие отношения.

Был я в этот вечер представлен еще десяти, а может быть, пятнадцати господам. Туркам, болгарам, хорватам – черты их в моем сознании перемешались. Одно многоголовое дипломатическое животное во фраке и бабочке. Ядовитая любезность во вставных челюстях. Во мне же разгоралось желание бежать. Как можно скорее, как можно дальше. Пусть Кострома, пусть тюрьма, все равно. Грядущее утро рисовалось мне тем мрачнее, чем безумнее и невразумительнее была ночь перед ним. Доведенный до состояния крайнего, я задал капитану Штабсу, воспользовавшись краткой отлучкой ядовитого писаки, жалобный вопрос:

– Выявно, капитан (он поднял бровь), то есть я хочу сказать, выявно занятой человек, капитан, – что заставляет вас уделять столько времени и сил мне, личности совершенно не замечательной с точки зрения интересов любого государства? Даже здешнего?

Он, против опасений, не увильнул от ответа по дипломатической кривой, он сделался серьезен и даже внутренне осунулся. Сказал странное:

– Я должен смыть пятно, лежащее на репутации рода Штабсов.

Мне показалось, ответ он менее просто, я бы понял больше.

– Когда б я был Наполеоном, подумал бы, что вы намерены меня зарезать.

– Нет, что вы, – тяжеловесно усмехнулся он, – я успел проникнуться к вам симпатией.

Тут пришла моя очередь усмехаться, причем недоверчиво. Штабс обиделся.

– Не верите? А я вам докажу. Вы ведь сегодня стреляетесь?

– Спасибо за напоминание.

– У вас нет друзей в этом городе.

Я подумал о докторе Сволочеке и сказал:

– Нет.

– Тогда я стану вашим секундантом. Можете на меня положиться.

– Не надо, не надо становиться моим секундантом!

– Мы теперь друзья, а друзья должны чем-то жертвовать друг для друга.

Я попытался осторожно исчезнуть. Сделал шаг назад, но уперся в подлетевшего Ворона.

– Теперь выпьем шампанского, – закричал он.

– Я не хочу, у меня уже мозг от него пузырится.

– Это настоящий Дюдеван, триста франков бутылка. В Стардворе вам такого не подадут.

– А я и не рассчитываю там быть.

– У руситов есть поговорка: от дворца и от ямы Дворецкой (наименование самой известной тюрьмы) не зарекайся. То есть может кого угодно судьба вознести, а может и к подножию жизни бросить.

– Не хочу шампанского, – тупо настаивал я на своем.

– Ну, тогда без него, пойдёмте, она уже ждет.

– Кто?!

И тут я увидел, кто. Ее светлость стояла у противоположной стены, опираясь слишком гибкими пальцами о золоченую консоль и купая подбородок в веере. И поощрительно улыбаясь. У меня от этой приязни обледенел желудок. Но офицерская воля уже влекла меня. Положение мое было вполне безнадежным. Я еще ловил возмущенно распахнутым ртом последние глотки свободы, а ревнитель родовой чести уже рекомендовал меня ее светлости.

Кажется, я что-то отвечал, с перепугу – по-русски. Родная моя речь странно подействовала на высокопоставленную немку.

– Тебя удостоивают танца, – прошептал мне на ухо прусский ус.

Я еще не успел испугаться, а рука княгини уже закогтила мое плечо. Оркестр швырнул нам под ноги что-то неотвратимо танцевальное. Смычки стаями рушились на струны.

Меня учили танцевать, но меня не учили танцевать с царствующими особами. К тому же мне следовало помнить о скрытом дефекте ее походки. Или все же это дефект моего зрения?

Три-четыре пары закружились вслед за нами. Я был им благодарен.

– Вы русский? – спросила княгиня.

– Да, ваше высочество.

Она улыбнулась и закатила задумчиво глаза. То ли в восторге от сделанного открытия, то ли в попытке что-то вспомнить. Вспомнила и поинтересовалась с искренним участием:

– Пшепрашем вшистко?

Звук неродной, но родственной речи смутил меня. Я знал, что должен понять, о чем меня спрашивают, но не понимал.

– Тепло? Студено? Наистудено?

Она продолжала меня ласково пытаться, а я вспыхнул от стыда, словно вопрос касался моего белья или стула.

– Заедно? На здрав?

Тут уж нельзя было отделаться одними красными пятнами на физиономии, я собрал в кулак все свои умственные силы, и пожалуй, что зря. Потому что мой ответ получился никак не иначе, как вот таким:

– Вшистко, студено, на здрав.

Ее высочество чуть не подвернула свою таинственную походку, приходя в тихий экстаз; так бывает, когда внезапно встречаешь в толпе врагов родственную душу. Вальс меж тем великодушно заканчивался. Я в три вращения препроводил Розамунду к консоли, у которой отнял ее пару минут назад, и начал откланиваться.

– Тырново! – торопилась мне что-то сообщить венценосная танцовщица.

– Трнава, – почти резко парировал я, делая шаг прочь. Последним с ее губ слетело «Буг», но я уже был вне пределов досягаемости.

– Она что, ненормальная? – спросил я вернувшегося господина журналиста, стремительно уносясь в сторону выхода.

– Ну, зачем вы так, – урезонил меня ругатель всех и вся, – просто ее высочество думала, что говорит с вами по-славянски. И тем делает вам приятное. Она у нас тут панславистка – на свой особый манер. Вы отличены, поздравляю.

– К дьяволу!

Я быстрым шагом покидал танцевальную залу.

– Может быть, может быть. Но в данном случае на вашем месте я не уносился бы с такой скоростью. Ее высочество решит, что вы делаете это под впечатлением, которое она произвела на вас.

– К черту!

– Если вы твердо решили составить компанию именно этим двум господам, то не могу не отметить – вы следуете правильным путем.

Мне и самому пришло в голову, что я заблудился. Ничего похожего на выход, через который я явился на бал, по дороге мне не попадалось. Все меньше света и все больше пыли. Не слуги, а тени. Назло себе, Ворону, Штабсу я сделал еще несколько поворотов, промчался еще несколькими тусклыми коридорами, и передо мною оказался заброшенный подъезд дворца. Я убежал в сторону, противоположную спасительной. Огромный темный вестибюль со скошенным вдаль и вниз потолком. Дно его не ощущалось моими чувствами. Забит он был отслужившим мебельным веществом. Щепки, обломки, ржавые пружины, тряпки, обглоданные листы фанеры, рваные края мраморных плит. Элементы мебели превращались здесь в элементарное вещество.

Из этого темного зрелища я сделал неожиданный для моих спутников вывод:

– И все же я не понимаю, почему должен стреляться с Вольфом!

Журналист поскреб матерчатую лысину.

– Попытаюсь объяснить несколько издалека. Вот, скажем, все знают, что Цезаря зарезали Брут – простите, капитан, пришлось, так сказать, к слову, – Брут



и Кассий. Но почему имя первого стало нарицательным, а второй превратился в нюанс для специалистов?

– Откуда мне знать? Потому что Цезарь не сказал: «И ты, Кассий!»

– Нет, дело не в этом. А в том, что может быть только один. Только один, понятно?! – проникновенно произнес Штабс.

– Великолепно, капитан! Есть дела, в которых возможен только один! Вы мешаете Вольфу.

Я чувствовал, что мне говорят правду, на все вопросы отвечают полностью и максимально точно, но ничего не понимал.

– Но это какая-то чушь! Кто такой этот Вольф?! Откуда он взялся? Вы можете мне это сказать?!

– Лично мне о нем известно очень мало. – Ворон выпятил губы. – Он повсюду следует за мадам. Фигура загадочная, с призрачным прошлым. Знаете что, пойдёмте отсюда.

И мы стали подниматься по широкий, застеленной драным ковром лестнице. Я заметил, что деревянная свалка потянулась за нами, как будто мы ее разбудили своим вторжением. Как из первобытного океана, из нее выбирались зародыши вещей. С каждой ступенькой их вид становился все осмысленнее. Наконец стало возможным применять к ним какие-то, для начала уродливые, названия: продавленная кушетка, кривой стул, бюро с вырванной ящичной челюстью, кресло со взорвавшимся сиденьем.

Наступил момент, когда закончилась изнаночная сторона дворца, уроды вымерли. Но легче не стало – повсюду торжествующе правили свой стоячий бал отвратительно смешанные семьи. Кровать из рода бидермаеров топталась в обществе стульев рококо, венецианские кресла жались к английским готическим ящикам, а меж консолями от Людовиков XIV и XV нагло торчала решетчатая спина Чиппендейля.

Профессиональная тошнота подступила к моему горлу и превратилась в чисто человеческое страдание. Мои спутники показались мне иллюстрацией хаоса, в который мне только что пришлось опуститься. Я давно догадался, что эти двое не случайно вьются подле меня и лезут с разговорами. Они приставлены. Кроме того, они явно не союзники, чем дальше, тем явнее становилось, что они не могут меня в каком-то смысле поделить.

– Между прочим, уже светает, – сказал Штабс, отдернув на мгновение гардину, – мне пора готовить пистолеты.

– Какие пистолеты? – жалобно просипел я.

– Так езжайте, – пожал плечами Ворон.

– Но вам не пора ли в редакцию, мсье?

– Может, и пора.

– Какие пистолеты?!

– Я ваш секундант, вы разве забыли, мсье Пригожин?

– Так идите, приводите в порядок свои железки.

– А вам неплохо бы очинить свои перья...

Мы все втроем продолжали передвигаться и уже оказались на территории, обжитой балом. Появились группки балагуриющих фраков и платьев.

– У меня такое впечатление, капитан, что вы мне, как бы это мягче сказать, слегка не доверяете.

– У меня сходное мнение на ваш счет.

Меня смущало и пугало то, что они почти полностью перестали считаться с фактом моего присутствия. Чем бы это кончилось, сказать трудно, когда бы не появление откуда-то сбоку мадмуазель Дижон.

– Вот вы где, – без какой-либо эмоции в голосе сказала она.

– Мы осматривали дворец, – нашелся Ворон.

– Осматривали, осматривали, – присоединился капитан.

– Мне кажется, нашему гостю пора поблагодарить мадам за приглашение на бал.

Мои спутники тут же стали пятиться в разные стороны.

– Следуйте за мною, – сухо предложила мне суровая дева.

Я последовал. Идти пришлось недалеко, но через самые освещенные и густонаселенные места. Меня видели все. Включая панславистку из дома Гогенцоллернов. Мадам стояла в окружении нескольких оживленно беседующих господ и дам. Вернее сказать, оживленно слушающих. Говорила мадам. До того момента, как она обернулась ко мне, я успел понять, что на ней то же самое черное платье и те же бриллианты, в которых она была встречена мною нынче утром. Легкомысленный маскарадный пеплос был отринут.

– А, это тот самый молодой человек из России?!

Надев прежние одежды, она не осталась прежней. Ничего от величественной заторможенности не осталось. Она была едва ли не игрива, несмотря на всю свою крупность.

– Да, тот самый, о котором я вам рассказывала, – сообщила мадмуазель, отступая на несколько шагов. Беседующие с мадам как по команде заработали веерами и стали расплываться в стороны.

– Ну и как вам мой прием, юноша?

– О, мадам.

– Вы тут со всеми перезнакомились, и я слышала о вас массу лестных слов, мол, вы именно то, что нужно. Так легко войти в общество не всякому удается. Такой успех не случаен.

– Мадам, я бы хотел...

– А как вам, в свою очередь, понравились мои гости?

Я лишь начал набирать воздух в грудь.

– Не правда ли, собрание ослов и негодяев? А главное, ничтожество?

Нет ничего обременительнее чужой откровенности.

– Я видела, вам и со здешней ученой княгиней удалось потанцевать. Вам не кажется, что у нее хромает не только славянское произношение?

Говорила она эти злопыхательские фразы самым беззаботным и даже дружеским тоном, у меня ни на секунду не появилось ощущения, что я участвую в каком-то нехорошем деле. В этом был фокус ее личности, у меня возникло чувство благодарности к ней. Мадам вдруг прервала свой щебет.

– А как вы находите меня, молодой человек из России? Гожусь ли я еще на что-нибудь?

Каково? В голове моей бедной вскипела путаница определений, кои я хотел бы обратить к ней. Мне хотелось сравнить ее с грациозной, хотя и массивной вазой, восхититься, как она совмещает в себе развязность и изящество, тайну и пошлость. Но произнести вслух все эти домыслы было немислимо. Равно как и молчать. Сама собой выплыла следующая фраза:

– Что вы не соответствуете городским о вас слухам.

– Каковы же они?

– Считается, что вы родственница Дракулы.

Она помедлила самую маленькую секунду и расхохоталась. Я заторопился с объяснениями:

– Это, разумеется, дикая, варварская глупость, я просто затем, чтобы позабавить.

Мадам потрепала меня по щеке ладонью. Обыкновенной теплокровной ладонью.

– Вам это удалось. Вы меня очень позабавили, хотя на самом деле хотели уязвить.

– Поверьте...

– Но это слухи, а сами вы? Ваше мнение, отчего-то оно мне интересно.

– К стыду... я не успел. Я лишь второй раз с вами беседую.

– Второй раз? – вяло удивилась она.

Она считает меня идиотом? Который же еще?! Но не спорить же!

– Я осмотрел ваш дворец, – залепетал я.

– И что он? – вдруг озаботилась мадам. – Подозрительное, что-то непонятное?

– Какой безумец расставил вашу мебель, мадам? – Я был уверен, что она меня прогонит, она же снова рассмеялась.

– Его имя – Спешка.

И тут я очень остро почувствовал, что разговор окончен. Начал пятиться, кланяясь, но мои поклоны уже никого не интересовали. Я выпрямился, на меня налетел Штабс.

– Пора. В гостиницу. Ванна, полбутылки бургундского и письмо родителям.

Кофе мне подали заплаканная толстушка в кривовато напяленном фартуке. Хотя мне было, в общем-то, плевать на причины ее горестного состояния, я, по законам инерции общения, поинтересовался – о чем слезы?

– Мсье Саловон, – прошептала она, и у нее перехватило горло.

– Он умер? – заинтересованно спросил я, как человек, выяснивший перед неприятным путешествием, что может рассчитывать на попутчика.

– У него удар. Кровь бросилась в голову.

– Кровь?

Не успел я ни во что толком вдуматься, к девушке подпорхнул неотступный Штабс и, обняв за плечи, стал выпроваживать из номера.

Кофе показался мне тошнотворным, кровь Саловона бросилась именно в мой кофейник! Неужели внутренняя боль способна повлиять на вкус окружающего мира?

Штабс тоже отхлебнул дымящейся смолы и объявил камбронновским голосом:

– Дерьмо!

– Это ты о чем (вас ист дас)? – просипели за дверью, потом дверь распахнулась, и на пороге я увидел еще одного типичного германского офицера. Голубой глаз, черный мундир, русский ус и тупой юмор.

– Капитан Юберсбергер! – с нескрываемым удовлетворенным объявил Штабс. – Ваш второй секундант.

С меня было вполне достаточно и одного капитана, поэтому я даже не попытался казаться приветливым. Обиднее всего, что Юберсбергеру было на это плевать. Такой выполнит товарищеский долг, даже если ему придется удушить самого товарища.

Возмущенно раздеваясь на ходу, я направился в ванную комнату, и там, лежа в воде и в слезах, слушал, как территорию моей комнаты топчут каблуки жизне-радостных милитаристов. Они громко обменивались воспоминаниями о своих прежних дуэлях и спорили с отвратительным знанием дела, какие дуэльные рань опаснее для жизни.

От выпитого после ванны шампанского меня, естественно, вырвало. Мне тут же был устроен душ из подходящих к случаю шуточек. Я узнал, что новичков почти всегда тошнит в урочный день. Это так же неизбежно, как полные штаны новобранца в первом бою. Слишком немецкий юмор. Теперь письмо родителям.

Я сел к столу. Штабс молча придвинул ко мне чернильницу с торчащим пером и лист бумаги. Лист был ненормально длинный, на нем можно было описать всю мою жизнь за последний год. Немец деликатно отвернулся, товарищ его тоже. Текст уже составил в моей голове, поэтому я начал бросать слова на бумагу скоро, бойко... «Дорогая, бесценная моя матушка! Пишет тебе сын твой единственный, пишет в горький и последний, может стать, час. Не пройдет...» Дойдя до этого места, я вдруг отшвырнул перо и упал головою на руки. Как бесконечно обессиленный.

Секунданты ничуть не удивились такому повороту моего поведения, в их практике, видимо, случалось и это.

– Тогда едемте!

Когда мы вышли к коляске, нас встретило с особой тщательностью выделанное утро. Все дышало жизненной глубиной, предметы были преувеличенно реальны: свежие горы цветов во влажных корзинах у входа, оживленная болтовня цветочниц, прохладная на вид мостовая, сочно-гнедые кони. А с каким затаенным приветствием скрипнули рессоры, как ласково колыхнулась коляска, как нежно ударило копыто в темя первого булыжника! Итак, едем.

Кажется, еще никому не доводилось описывать свой путь к эшафоту. А может, и доводилось, да я не вчитывался, глупец, уверенный, что это не нужный мне опыт. Вот совет, который я хочу оставить потомкам, пусть их у меня и не будет. Вчитывайтесь, пока не поздно. Вглядывайтесь и вдумывайтесь, милые мои...

Почувствовав стремительное приближение истерики, я взял себя в руки и одернул. Не хватало еще распустить русские нюни перед лицом извечного врага.

А коляска весело катилась, горожане привычно сторонились, облако таяло, невинность синевы казалась все лживее. Пруссаки гоготали все бесчеловечнее. Наверное, они кажутся себе отличными парнями, отвлекающими меня от печальных дум.

Зажмурившись изо всех сил (единственный способ уединиться), я снова подумал: зачем я туда еду? Почему я не выпрыгиваю из коляски и не бегу к ближайшей подворотне? Пусть свист в спину, пусть улюлюканье и позор, зато живой! Неужели Андрей Пригожин, сын архитектора, до такой степени часть человечества? Неужели до такой степени зависит от мнения людей – людей, которых почти не знает, совсем не уважает?

Нет, я сильней обстоятельств. Сильней! Не хотеть – значит мочь! Я привстал, выбирая момент. Вон там коляска притормозит, делая поворот, засеменит всеми

восемью копытами... На выбранном углу, спиной к керосиновой лавке и лицом к моему отчаянию, стоял славный доктор Сволочек. Бок о бок с другом своим Вернером. Вернер был за скобками ситуации, а вот его словацкий коллега поразил меня скорбным своим взглядом. Он полностью смирился с тем фактом, что я еду в этой коляске с двумя пистолетами и двумя капитанами на смертельно опасное развлечение. Эта скорбь встала шершавой стеной на моем пути к унижительной свободе. Я сел на место. Без сил. В поту. С потухшим, вероятно взором.

– Сволочек, Сволочек, – пробормотал я сокрушенно. Капитаны понимающе переглянулись – дуэлянт горячит себя перед поединком. Правильно делает, потому что пора!

Вот уже сдержанно грохочет мост над безразличной Чарой. Вот уже потянулась тополияная аллея к той затуманенной в сей ранний час поляне.

Противник героя всегда приезжает на место дуэли первым и оскорбленно расхаживает возле своей кареты. Один секундант – близкий друг – держится рядом, стараясь его подбодрить или успокоить. В зависимости от того, что требуется. Второй, попавший в дело почти случайно, в сороковой раз осматривает пистолеты и старается представить себе неприятности, которые его ждут после всего. Он первым видит запоздавшего соперника и громко говорит: «Наконец-то!» Секундантами Вольфа оказались два капитана княжеской гвардии. Им льстило, что их визави будут капитаны армии императорской. Быстро и даже с блеском совершилось несколько обязательных церемоний. Предложение решить дело миром было произнесено лишь до середины, а Вольф уже закричал:

– Ни в коем случае!

Юберсбергер подошел ко мне с открытой коробкой. Я был странно спокоен в этот момент. Взгляд мой бродил по сторонам без всякой нужды, запоминая абрис ивовой ограды вдоль невидимой реки, темные полосы, оставленные на росистой траве колесами и сапогами, обтянутые серо-сиреневым сукном ляжки одного из княжеских капитанов.

Что он так вышагивает?! Это же отвратительно в такой момент! Ах да, отмеряет расстояние...

Отчасти меня привел в себя холод пистолетной рукоятки. Штабс дружелюбно приобнял меня за плечи и повлек к «барьеру»: к торчащей из мокрого дерна рапире. Моим плечам вспомнилась плачущая служанка из гостиницы, и они дрогнули.

Только став у барьера, я толком разглядел Вольфа. Он был бледен и от этого особенно черноус. Не человек – валет.

– Расходитесь! – крикнул Штабс.

Я сделал шаг назад, потом еще, более всего заботясь о том, чтобы не оступиться. Почему-то я хотел выглядеть достойно в глазах этих незнакомых мне, в сущности, господ. Господ, с которыми у меня, скорей всего, и не будет возможности познакомиться. Я знал, что сейчас умру, но думал о каблуках, о высоте мокрой травы, о кротовых норах, которые всегда подстерегают... Меня сильно качнуло вправо, я едва не упал. Усы собравшегося капитанья начали иронически топорщиться. Господи! Неужели мне не о чем больше подумать. Сейчас все кончится, и эти деревья, и река, и громада замка пропадут. Я навсегда и полностью исчезну.

– Сходитесь!

Я продолжаю, продолжаю им подчиняться, каждой их команде! Они меня убивают, а я им подчиняюсь! Вот они, последние, самые последние шаги. Тут я опять попал ногой в ту же самую кротовую дыру и понял, что не успею вовремя дойти до барьера. Остановился, поднял пистолет и прицелился. И увидел, что поразительно подвижная, как пар из чьей-то пасти, волна тумана накатывает на Вольфа.

И я выстрелил. Торопливо, как будто боялся, что туман отнимет у меня соперника. Выстрела не услышал, так забита голова шумом крови. Но я знал, что выстрелил. Знала рука, знало плечо. Я отбросил оружие и тут же вспомнил, что мог бы использовать его как защиту. Можно ли теперь наклониться за ним? Не нарушение ли это правил?

Волна тумана проплыла, и Вольфа не оказалось там, где ему положено было стоять. Я не понял, что это значит, но сообразил, что теперь можно не бороться со слабостью и тошнотой. И упал. На спину. С открытыми глазами, рассчитывая, быть может, увидеть небо в равнодушных облаках. Небо было чистым. Потом появились сходящиеся со всех сторон шумы, состоящие из непонятной речи. Надо мною склонились физиономии четырех капитанов.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Рано утром, задолго до завтрака, из дверей большого «генеральского» флигеля появился Калистрат. Он нес складной парусиновый стул и трехногий журнальный столик. Направлялся в дальний конец сада, в так называемую «вишневую заводь». Это было самое укромное место в имении, получившее свое название от двух старых, давно бесплодных деревьев, что было несправедливо, ибо ощущение уюта создавали не они, а приземистые яблони и заросли первобытных непуганых трав. Помнилось, что вишни посажены еще в прошлом веке отцом Тихона Петровича в честь какого-то весьма исторического события, но какого именно – забылось.

Калистрат выступал неторопливо и солидно, как бы предвосхищая выход того, кто последует за ним. Последовал Василий Васильевич. Несмотря на столь ранний час, он был при параде. И сюртук, и сорочка, и панталоны отдавали какой-то особой джентльменской свежестью. Даже с расстояния в сорок, скажем, шагов (на таком, например, находился кучер Авдюшка) можно было утверждать, что от его бакенбард разносится запах английского одеколона.

В руках генерал нес стопку газет, под мышкой увесистый, в зеленом переплете том. Василий Васильевич решил провести нынешнее утро в соответствующих его чину и положению размышлениях. Газеты должны были сообщить последние факты с фронтов мировой политики, а книга (это был Алексис де Токвиль, «История демократии в Америке») призвана была еще больше укрепить генерала в убеждении, что Российскому государству никакой другой способ правления, кроме монархического, все еще не подходит.

Когда молчаливая и представительная пара вошла в тень первых деревьев, Авдюшка – довольно рослый малый, весь в веснушках и с какою-то стернею вместо волос на голове, вдруг швырнул в сторону ни в чем не провинившийся

перед ним хомут и бросился в сторону людской – длинного приземистого сарая, служившего одновременно и жильем для дворни, и прачечной, и чем-то еще. Вид у кучера сделался заговорщицкий.

Некому было удивиться этому преобразению.

Почти все жители имения почивали.

Спал Тихон Петрович, спала Марья Андреевна на стоящем возле мужниной кровати неудобном стуле. Спала Груша на сундуке, подложив ладошку под щеку и выставив из-под платья каблучки башмаков.

Аркадий с Сашей спали, намотавшись по болотам. Однокурник не обманул молодого Столешина, он прибыл к нему не для пустопорожнего гостевания, а с конкретными научными целями. Целыми днями он со специальными лопатками и мензурками бродил по самым грязным местам в окрестностях усадьбы, собирая коллекцию «образцов». Аркадий довольно смутно понимал смысл его занятий. Это была странная дружба. Аркадий, человек гуманитарный и вместе с тем порывистый до чрезвычайности, внезапно разругался в пух и прах со всеми своими университетскими приятелями и знакомыми, не сойдясь с ними во мнении о дальнейших путях современного искусства. Столь же внезапно он решил, что отныне будет дружить только с Сашей Павловым, студентом-физиологом, которого он едва знал. Он пригласил его провести месяц в деревне. Юный натуралист охотно согласился. Он сказал, что рад возможности поработать в столешинских болотах. Не скрывал он и своего удовлетворения, что ему удастся провести целый месяц на чужом коште.

Уже на другой день по выезде из Санкт-Петербурга Аркадий стал немного жалеть о своем замысле. Саша его начал даже слегка раздражать своим желанием извлечь из столешинских торфяников эликсир бессмертия.

Спала также и Галина Григорьевна, абсолютно не заметившая, что муж ее покинул.

Не спали Евгений Сергеевич и Настя, они одновременно заканчивали утренний туалет. Благодаря заученным усилиям из Насти получалась все та же аккуратная, бесцветная, но с затаенною, очень глубоко болезненной искрой девушка. Смысл ее туалета состоял в том, чтобы сделалась как можно заметнее красота характера.

Евгений Сергеевич чувствовал себя не в себе. Летняя полотняная пара, еще вчера устраивавшая его вполне, теперь раздражала и белизной и полотняностью. К тому же он порезался, бреясь, что случалось при его методичности и обстоятельности чрезвычайно редко. «Я волнуюсь?» – спросил он себя и мрачно ответил: «Да».

Причиной этого волнения была болезнь Зои Вечеславовны. Обморок во время сеанса народного визионера возымел последствия. Профессорша оказалась прикована к постели. Это означало, что те переговоры, ради которых супруги Корженевские прибыли в Столешино, придется вести Евгению Сергеевичу. Практическая сторона жизни его всегда пугала и раздражала.

Наконец, убедившись, что ему нипочем не справиться с галстучной заколкой, профессор с возмущенным шипением вытащил ее, сорвал с шеи галстук и, чувствуя на себе любящий, но насмешливый взгляд жены, вышел из комнаты.

В тот же момент раздался стук в дверь Настинной комнаты. Она почему-то похолодела и перехваченным горлом произнесла:

– Войдите.

Калистрат установил стул, столик и, не испрашивая разрешения, заторопился обратно. Он почти бежал, высоко поднимая худые кривые ноги в неизменных сапогах, раскинув при этом руки. Он напоминал своим видом вставшего на дыбы паука. В его глазах горел огонек нехорошего предвкушения. От «вишневой заводи» до каретного сарая, к которому он, по всей видимости, направлялся, было шагов полтора. Создавалось впечатление, что он намеревается преодолеть все это расстояние такой паучьей рысью.

Дверь отворилась, и появилась русая голова.

– Дядя Фаня?! – почему-то с удивлением спросила Настя.

– Я, Настенька, я. Мне очень нужно с тобой поговорить.

Аркадий перевернулся с живота на спину и раскинул руки. Еще несколько мгновений – и он проснется.

Калистрат, выбегая из-под яблоневого сени на посыпанную гравием дорожку, задел плечом профессора, но и не подумал остановиться.

Евгений Сергеевич не умел обращаться с простым народом и не любил народ за это. Он совсем было решил оставить мелкое Калистратово хамство без внимания, но пересилил приступ интеллигентности.

– Эй, милейший! – крикнул он твердым голосом вслед возбужденному пауку.

Тот неохотно остановился, обернулся. Тяжело закашлялся.

– Ты что, милейший, ослепнуть изволил?

– Не разглядел. Извиняемся, – пробурчал Калистрат и снова тяжело закашлялся.

«Все вокруг больны, – с неудовольствием подумал профессор. – И жены и слуги». Он уже жалел, что остановил этого чахоточного идиота, что теперь с ним делать? Мелькнула спасительная мысль.

– Где генерал?

– Где вишни. Там.

– Пошел вон, – сухо сказал профессор, довольный тем, что способен на такие решительные заявления.

Калистрат, прежде чем удалиться, сказал с загадочным видом:

– Статься так может, что спасли вы сейчас кой-кого.

Он уже сидел со своей загадочностью у Евгения Сергеевича в печенках, поэтому тот не отреагировал, а отправился в указанном направлении.

– Садись, Настенька, садись. – Обнимая за плечи, Афанасий Иванович подвел девушку к кровати и усадил.

– Да что с вами?! Вас еще кто-то хочет зарезать? – не удержалась она.

Афанасию Ивановичу было неприятно, что она так шутит, и он не скрыл этого. Вид у него был растерянный, он засовывал руки в карманы, вытаскивал платок, часы, папиросы, засовывал все обратно. Бросался к окну, всматривался в него. С неловко отодвинутого букета в керамической вазе бесшумно осыпались лепестки.

– Мне сегодня очень плохо спалось.

– Мне напротив, но...

– Поэтому сначала я решил не придавать этому никакого значения. Шутки



Морфея – и все. Но потом, когда уже умывался, то очень даже понял: не в Морфее совсем тут дело. Сон – это одно, а это – другое!

Он похлопал ладонью по левому колену, а потом по правому, показывая, где у него «сон», а где «другое».

– Ты меня понимаешь? Сон тут совсем ни при чем! Совсем!

Калистрат вбежал в прачечную, наполненную кисловатым влажным духом, – никого! Над котлом поднимается пар. Из котла торчит весло для перемешивания тряпичного варева. Лавка. На лавке спит кот. Стоят четыре бадьи с холодной водой. Калистрат недоверчиво прошелся по выскобленному полу, заляпанному хлопьями мыльной пены. Приблизился к окну, протер запотевшее стекло и медленно осклабился. Авдюшка сидел в лопухах, справляя нужное дело.

– Приспичило, охальник!

– С добрым вас утром, Василий Васильевич, – хриповатее, чем обычно, произнес Евгений Сергеевич в хребет развернутой газеты. «Утро России» сложило крылья и легло на правый бок. Показалась довольная (чем?) генеральская физиономия.

– А-а, господин Корженевский, что вас заставило в такую рань? Ведь вы, творцы и служители искусств, любите об эту пору как раз поспать. Не желаете ли свежую газету? У меня большой выбор. И «Биржевые ведомости», и «Русские».

– Мне нужно с вами поговорить.

– Представьте, мне с вами тоже.

– Зоя Вечеславовна все еще больна...

– Очень и искренне сожалею, но разговор у меня не к вашей супруге, а к вам.

Евгений Сергеевич мимолетно коснулся воротничка своей сорочки, ему было неприятно осознавать, что он не в галстуке.

– Ко мне?

– Именно и да. Помните наш спор недельной примерно давности? Ну, в день прибытия. Спор о том, какие последствия возымеет Сараевское преступление, помните?

– В общих чертах, – сухо сказал профессор.

– Я эти черты позволю себе вам напомнить. Безжалостно напомнить. Вы утверждали, и с апломбом, что грянет вскоре после выстрела не что иное, как всеевропейская война. Не так ли?

– Возможно.

– Не возможно, а именно так. А вот взгляните, что пишут сегодняшние газеты, – генерал уверенно зашелестел широкими листами, – это «Русское слово». «Несмотря на усилия министра иностранных дел Австрии графа Берхтольда, отчасти поощряемого германской дипломатией, Дунайская монархия не проявляет признаков агрессивности. Франц-Иосиф отбыл из Вены в свою резиденцию в Ишл. Военный министр Австро-Венгрии генерал Кробатин и начальник австрийского ландвера отправились в отпуска. Так же поступили и начальники венгерских гонведов». Ну, похоже это на близкое начало военных действий?

Евгений Сергеевич еще раз поправил отвороты своей рубашки, но ничего не сказал.

– «Председатель совета министров Венгрии граф Иштван Тиса выдвинул свои весьма убедительные соображения об опасностях, которыми были бы чреваты военные действия против Сербии, а также захват ее территории».

– Чего вы от меня добиваетесь, генерал?

– Ничего особенного. Я хочу лишь, чтобы вы признали свою ошибку.

– Но у меня к вам дело, никоим образом не связанное с большой политикой. Дело сугубо частное.

– Давайте подобающим образом покончим с большой политикой, и я в полном вашем распоряжении в частном смысле.

Помявшись на месте, Евгений Сергеевич прошелся туда-сюда. Ходить было неудобно – мешала высокая трава.

– Что ж, Василий Васильевич, я должен констатировать, что на настоящий момент мой прогноз выглядит малосбывшимся. На настоящий момент. – Тут был вознесен профессорский палец. Генерал улыбнулся.

– Умному достаточно, как говорят римляне. Можно теперь перейти и к вашим делам.

– Они не только мои, они касаются всех. В той или иной степени.

Шелест складываемой газеты.

– Зоя Вечеславовна хочет получить свою часть наследства. Причем получить немедленно, да?

– Вижу, что нам почти нечего обсуждать, вы полностью в курсе дела.

– Да, в курсе. Как тут не быть. А обсуждать есть что, дорогой Евгений Сергеевич. Как это, например, можно требовать часть наследства еще при живом Тихоне Петровиче? Это пахнет несколько дурно.

– Прошу вас, оставьте проповедническую кафедру. Вы не хуже меня знаете резоны Зои Вечеславовны. И мои. Ей были обещаны дядей, Тихоном Петровичем, деньги, достаточные для покупки квартиры за границей. Ее уступка заключается в том, что сумма эта будет вдвое меньше доли, на которую Зоя Вечеславовна могла бы претендовать по закону и здравому смыслу. Спешка же, которую вы изволите осуждать якобы с позиций самой высокой морали, продиктована тем, что открылся очень выгодный заграничный вариант. Убежден, что Тихон Петрович, узнав, что есть возможность столь удачно устроить судьбу своей ближайшей родственницы, не стал бы медлить. Лично я тоже не вижу, почему бы не решить это дело немедленно, раз предварительная договоренность вполне достигнута.

– Но Тихон Петрович давал, насколько я понимаю, свое согласие, находясь в здравой памяти и твердом рассудке, а сейчас он без сознания.

– Но ведь у него бывают периоды довольно длительного просветления!

– И, кроме того, – генерал самоуверенно зевнул, – насколько мне известно, нужной суммы у Тихона Петровича все равно нет.

– Но ведь можно кое-что безболезненно продать.

– Что, например?

– Ну-у, хотя бы ту березовую рощу, что за старой мельницей.

Василий Васильевич всплеснул руками, будто только и ждал, что этой проговорки собеседника.

– Вот это дело! Никакого другого способа, как только разбазаривание не вами нажитого, вы не видите.

Краска начала проступать фрагментами на лице профессора. Что-то было угрожающее в этом процессе. Генерала это ничуть не испугало.

– Вот вы с Зоей Вечеславовной и показали свое истинное лицо. Продать, что только возможно, и бежать за границу.

Профессору очень хотелось вспылить, но он сдержался, он не мог себе позволить открытой ярости. Он знал, что супруга очень его не похвалит за прерванные переговоры. Не до амбиций. Он решил против демагогии выставить логику.

– Никак не могу понять, Василий Васильевич, в чем смысл вашего противодействия. Ведь для вас прямая выгода в том, что Зоя Вечеславовна соглашается на уменьшенную долю. Ведь в конце концов вы останетесь здесь полным хозяином. За вычетом какой-то роши. Вы ведете себя неразумно.

Генерал немного помрачнел. Сам того не ведая, профессор задел очень неприятную струну в его душе.

– А я, Евгений Сергеевич, если честно сказать, так и не слышал собственными ушами обещаний Тихона Петровича. Все больше со слов Зои Вечеславовны.

Не успевшая полностью схлынуть краска начала снова подниматься по щекам профессора.

– Вы спросите хоть Марию Андреевну. И вообще, как вы можете...

После этого надо было уходить. Евгений Сергеевич развернулся и через плечо добавил:

– Выражает сомнение в чужих правах тот, кто и в своих собственных не слишком уверен.

– Представь себе, Настенька, стою я в розовой гостиной, схватившись вот так рукою за каминную доску. Правой рукою. – Афанасий Иванович поднял названную конечность и подозрительно осмотрел.

– И что же? А левой что вы делаете?

–левой? У меня удушье, я пытаюсь освободить горло. Ты же знаешь, у меня полнокровие. Нечем дышать.

– Что же вы замолчали? – испуганно спросила девушка. Испугало ее выражение дядюшкиного лица. Оно сделалось отсутствующим, словно сознание Афанасия Ивановича куда-то провалилось. Потрявоженный резким вопросом дядюшка вернулся в себя. И продолжил говорить:

– И в гостиной какие-то люди, люди. Двери распахнуты... Люди эти размытые, но враждебные, ощутимо враждебные. Рты их раскрыты, надо полагать, они кричат что-то, но мне не слышно, что. Уши забиты как бы звенящей ватой. И удушье, удушье... И страшно. И вдруг из этой беззвучно орущей толпы выходит...

– Фрол?

Афанасий Иванович замер на мгновение, а потом тихо и нехорошо засмеялся.

– Откуда ты знаешь, Настенька? Впрочем, что я спрашиваю, это же все могут знать, все видели.

– Так это и правда был Фрол?

– Почему «был»? Будет! Все как давеча показывалось. Полезет за ножиком за пазуху. Достанет, занесет...

– А дальше?

Рассказчик заерзал на месте, заныл, лицо его исказилось, будто открылась внезапная внутренняя боль.

– Как же можно спрашивать, Настенька?! Кто же может знать, что будет дальше?! Никто не может! Кроме того, нет никакого смысла знать это, никакого!

Настя, кажется, поняла, что имеется в виду, судя по тому, как она прижала ладони ко рту.

Афанасий Иванович был не в силах далее говорить, да и рассказано было пожалуй, все, что можно было рассказать.

Установилась, естественно, тишина. Она длилась, неуловимо образовывалось в ней какое-то содержание, и через некоторое время его смысл и вес стали таковыми, что с ними нельзя было не считаться.

Тишина наполняла не одну лишь Настину комнату. Через щель, образованную неплотно прикрытой дверью, она сообщалась с общей тишиной дома. Границею ее были внешние стены двухэтажного здания. За ними продолжалась обыденная жизнь звуков. Шелестели яблони, позванивала коса, топор крушил чурбачки для растопки самовара, постанывал колодезный ворот.

И вдруг в самом сердце тишайших хором совершилось шумное предательство. Заголосили часы. Те самые, с каминной полки в «розовой гостиной». Соответствующая восьмому часу утра легкомысленная бошская мелодия безбожным образом издевалась над молчанием старика и девицы. Самое неприятное и непонятное было в том, что звук этот был слишком громок. Ненормально громок. Настя хорошо знала, что до ее комнаты звуки из «розовой гостиной» никогда не долетают. Афанасий Иванович думал о другом. О чем – покажет дальнейшее развитие событий.

Тут выяснилось, что наглый мотивчик произвел нехорошее впечатление не только на них. Раздался истеричный (женский?) вопль и вслед за этим грохот, похоронивший музыкалку. Кто-то невидимый, нервный и решительный расколошматил фарфоровый хронометр о дощатый пол.

Афанасий Иванович и Настя одновременно бросились к двери.

Увидели они вот что: стоящую на коленях Зою Вечеславовну. Она, как кобра (это сравнение не пришло в голову ни девице, ни старцу), нависала над белым мелким крошевом, посреди которого бился в последних судорогах металлический механизм.

– Зоя Вечеславовна, – прошептала Настя, – вам помочь?

Профессорша поднялась. Лицо ее против ожиданий было спокойно. Она перекрестила на груди концы своей шали.

– Нет уж, – сказала она не только твердо, но даже вызывающе, – помогать, во-первых, поздно, а во-вторых, не нужно. Я бы даже сказала так: если надо помогать, то не надо помогать.

Появилась Груша с веником и совком.

Настя чувствовала, что должна сказать еще что-то, поучаствовать в странной этой неприятности, но ее утащил за рукав дядюшка с почти неприличной силой.

– Идем, Настенька, идем, мне срочно нужно тебе что-то сказать.

Теряя равновесие, и физическое и душевное, девушка последовала за ним. Единственное, что она позволяла себе, так это повторять вопрос, повторявшийся ею за последние дни многократно: «Да что это с вами, дядя Фаня?»

Только вытащив девушку из дома на веранду, а с веранды в тень большого жасминового куста, он изволил отпустить ее рукав.

– Сейчас мы пойдем в каретный сарай, – шумно дыша, сообщил он.

– Зачем это?! – сделала она широченные глаза. – Я не хочу в каретный сарай.

Движением, взятым из собственного видения, Афанасий Иванович освободил шею от шелковой парижской удавки. Грудь его вздымалась, капли пота наперегонки бежали по бледным щекам. Но заговорил не он, а профессор.

– Доброе утро, – проскрипел тот, появившись из-за куста. Он не был расположен шутить, но счел, что светский человек, внезапно застав кого-либо за тайной беседой, обязан разрешить микроскопическую неловкость ситуации какой-нибудь шуткой. Пусть и банальной. – О чем секретничаем в такую рань?

– Все мы и не секретничаем, – непреднамеренно солгала Настя.

Но профессор не обратил на ее ответ внимания. Он молча проследовал на встречу с истребительницей фарфоровых хронометров.

– Идем, Настя, идем. – Афанасий Иванович вновь вцепился во все тот же рукав.

– Отпустите, дядя Фаня. Почему я должна идти в сарай? Вы сегодня какой-то... – Посмотрев в лицо дядюшки, она не закончила возмущенную речь и даже почувствовала, что ее возмущение замещается другим чувством. – Ну, ладно, пошли. И отпустите рукав. Ей-богу, смешно выглядит со стороны.

– Хорошо, хорошо, только скорей!

Василий Васильевич был занят своим раздражением в адрес профессора; Марья Андреевна – поправлением постели Тихона Петровича; Груша – осколками часов; Зоя Вячеславовна и Евгений Сергеевич – неприятною беседой; Калистрат – ехидным наблюдением за притворщиком Авдюшкою; Саша Павлов и Галина Григорьевна – сном. Некому было обратить внимание на чудовищное по своей подозрительности дефилирование странной парочки в сторону каретного сарая. Впрочем, один герой забыт в перечислении.

Отодвинув задвижку, Афанасий Иванович образовал довольно узкую щель, пропустил внутрь Настю, самым преступным образом огляделся, нет ли свидетелей, и скользнул следом за девушкой.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Напряженно пыхтя, Афанасий Иванович расстегнул ремни, которыми крепился на запятках брички объемистый кожаный ящик для поклажи.

– Даже рискуя, может быть, показаться вульгарным вором, я решился на этот эксперимент. Вот, Настя, поддержи крышку...

Бледные (от волнения) руки дяди Фани нырнули в темноту ящика...

– Вот...

...и извлекли оттуда нечто завернутое в тряпицу. Тряпица была тут же удалена, и к тусклому оку запыленного окошка были поднесены немецкие фарфоровые часы, только что погибшие на полу у двери Настинной комнаты. Они были в полной целостности и сохранности и отличались от «тех» только тем, что молчали.

– Что это, дядя Фаня? – прошептала потрясенная Настя.

– Украл! Стащил! Уволок с полки тихо нынче ночью и запрятал в ящик!

– Я про другое.

– Про какое другое?

Не отвечая, Настя медленно села на подножку брички и медленно же обхватила голову руками.

– Что это происходит? Что тут у нас происходит?! Мне сейчас стало... – Она помолчала. – Мне сейчас стало очень вдруг жутко. Эти ваши... видения, а теперь часы.

Обессиленно опустившись рядом, Афанасий Иванович продолжал нянчить на руках необъяснимый феномен.

– Это, конечно, смешно, я понимаю. Может показаться, что я принял угрозы этого мужика всерьез, что я поверил, будто он меня через некоторое время зарежет в «розовой гостиной». А самое забавное, что немного действительно поверил. Поверил! Себе я говорил – когда крал часы, – что я это просто в качестве эксперимента. Ведь они мне виделись так отчетливо. Любопытно посмотреть, что будет, коли их удалить с полки, как это повлияет на видение. Хотел я даже, может быть, посмеяться над моим видением. И за это, кажется, наказан.

– Что значит наказан?

– Как бы тебе сказать... – Дядюшка тряпицею, укрывавшей часы, вытер лоб, загривок, шею. – Я считаю, что мне дан знак.

– Знак?

– Он. Мне сообщается, что западня, о которой мне дали представление двумя способами: при помощи угроз Фрола и моего видения, – эта западня много прочнее, чем я мог подумать.

– Какие слова – западня, знак...

– Можно, Настенька, и по-другому назвать, но только Зоя Вечеславовна показала, что мне не вырваться.

– Она просто не в себе, дядя Фаня, вы сами помните, как она упала тогда, с Фролом. Она несла их к себе в комнату, испугалась музыки и выронила.

Афанасий Иванович то ли закашлялся, то ли слишком саркастически засмеялся.

– Несла! Держала! Испугалась! А где она их взяла?! А, Настя? Часы лежали здесь, в ящике, с того самого момента, как я их украл, с четырех примерно часов утра. В три мне «привиделось» мое убийство, а в четыре я их украл. А потом мучился до восьми, стыдась к тебе постучать. Я специально кинулся проверять, что с ними, и тебя захотел в свидетели. Потому захотел, что, в частности, боялся, что трогаюсь слегка рассудком моим. Все же очень сильное на меня произвело впечатление та сцена возле камина.

Настя, повинувшись смутному порыву, встала с подножки и отошла к окошку, поближе к свету и подальше от темноватых речей дядюшки.

– Не хочешь ли ты сказать, что Зоя Вечеславовна во всем этом как-то замешана?

– Я уже сказал это. Ты сама видела разбитые ею часы. Я только не знаю, как назвать ее участие, и начинаю содрогаться, когда размышляю над этим.

– Дядя Фаня, тебя стало трудно понимать.

– Не мудрено, раз оно такое трудное, то, что я хочу словами изъяснить. Но ты девушка умная, к тому же и сама кое-что чувствуешь, правда? Не отпирайся,

давеча со мной о временах каких-то рассуждала, помнишь, на мостках? Ты еще корила меня за нечуткость и нетонкость. Сейчас во мне этой тонкости хоть отбавляй. Буквально рвется все внутри.

Приступ удушья прервал сбивчивую речь. Опять пошла в ход тряпица. Афанасий Иванович попытался встать, ему хотелось подойти к Насте поближе, ему казалось, что она не полностью его понимает, потому что стоит слишком далеко.

– Да что вы меня корить пытаетесь, дядя Фаня! Я же сразу сказала, что мне жутко стало при виде этих целых часов. Не понимаю почему, а очень жутко. Я, может быть, сама бы на твоём месте украла их. Чтобы проверить. Но главное тут – что проверить, что?

Дыхание Афанасия Ивановича успокаивалось.

– Я еще, сказать по правде, надеюсь, что у этой истории было простое объяснение, и мне весьма стыдно думать о Зое Вечеславовне как о какой-то дьяволице. Бред, наваждение. Хорошенько потрясти бы головой, и все долой!

– А мы этим и займемся.

– Чем это? – с большой подозрительностью спросил дядюшка.

– Мы будем искать «простые объяснения».

– Н-да, хорошо бы.

– И потом, – Настя попыталась придать голосу беззаботно-игривое настроение, – если уж вас так беспокоят ваши видения и угрозы Фрола, уезжайте из Столешина на то время, когда угрозы должны осуществиться.

– Время, время, – Афанасий Иванович нервно постучал по фарфоровому пивовару, и из глубин механизма встала недовольная звуковая тень, – ведь не говорит этот аспид, когда! А ты его еще так отстаивала. Знает небось, а не говорит. Почему, спрашивается, а? Хочет, чтобы я непрерывно кошмарами маялся и в конце концов съехал навсегда.

– Он просто не знает, неграмотный. Мог бы сказать – сказал бы.

– Вот ты опять его защищаешь, опять! А каково мне, тебя не волнует вовсе.

– Эко вы поворачиваете. Не надо. Он всегда говорил, что Афанасий Иванович хороший барин, что убивать он вас никак не хочет. Он мучается, поверьте, свечки ставит, молится.

– Ты его еще и жалеешь. Ведь это меня надо жалеть, а не его, меня зарежут, ты хоть это прими во внимание. Не любишь ты меня вовсе.

– Неправда, ну что вы, дядя Фаня. Я вас больше всех люблю, и мне горько, когда вы бываете нехороший.

Афанасий Иванович помотал головой.

– Станешь тут нехорошим.

– Идем купаться, да? – Саша, жадно зевая, подошел сзади к стоявшему у окна Аркадию, тот глядел сквозь рыхлое сиреневое облако на двери каретного сарая.

– Чего ты задумался, Аркадий?

– Да есть от чего онеметь. Тебе не кажется, что в нашем Богом спасаемом имени происходят престранные вещи?

Деликатный Саша пожал плечами.

– Я давно обратил внимание, но это, можно сказать, не мое дело. А кроме того, у меня тут поле деятельности открылось. Я ехал сюда с определенными надеждами, но чтобы такие богатства!

– Это ты о наших болотах, что ли?

– О них, о них.

– Завидую тебе. Все у тебя разумно и объяснимо, а мне вот какие-то вещи кажутся весьма странными.

– Странен предмет, о котором мы не имеем достаточно сведений, и поэтому...

– Ой, не надо, Сашенька, не надо, давай свернем с этой дорожки. Мы и так уже, пожалуй, превратились в банальную пару персонажей; один, видите ли боготворит ум, другой в противовес ему живет сердцем, но при этом их неудержимо тянет друг к другу.

– Лед и пламень?

– Видишь, даже тебе понятно.

– Да ладно, идем купаться же.

Василий Васильевич возвращался к себе во флигель, пребывая в неплохом расположении духа. После разговора с профессором у него создалось впечатление, что он в этом разговоре победил. Он шел, дразня свернутой газетой лопухи, и улыбался, что-то бормотал себе под нос, наверное, мысленно добывая призрак своего противника. Он спешил рассказать обо всем супруге, он ощущал себя охотником, волокущим в пещеру хорошую добычу. Галина Григорьевна, пожалуй, уже проснулась и нежится, как всегда в этот час, в постели, замороженно и мечтательно наблюдая возню световых пятен на белом потолке и уносясь женскою мыслью в места, которые кажутся мужчинам несуществующими.

Генералу суждено было ошибиться. Жены не было в постели.

Жены не было во флигеле.

Настроение Василия Васильевича испортилось. Сочная добыча обернулась падалью.

Что бы могло означать это отсутствие? Завтракать – щелкнула крышка часов – еще рано. Ушла гулять?

В тот самый момент, когда генерал ощупывал руками остывшую постель Галины Григорьевны, профессор попал в объятия Зои Вечеславовны. Только переступив порог комнаты. Жена обнимала его страстно, почти исступленно. Евгений Сергеевич был сбит с толку. Не то чтобы он отвык за годы супружества от такого проявления чувств, в их браке подобные проявления просто не были заведены. Союз интеллектов, а не совокупление тел, вот чем должна быть признана их семейная жизнь. А тут объятия, поцелуи, слезы. Евгений Сергеевич всегда (и справедливо) считал, что как экземпляр мужчины сильно уступает жене как представительнице женского пола. Ему эта вспышка телесной приязни с ее стороны была приятна, но и пугала. И испуг усиливался при воспоминании о недавнем припадке.

«Милый! Любимый! Женечка! Родной мой! Что же теперь делать? Жизнь моя!» – такие и подобные им слова продолжали сыпаться на Евгения Сергеевича. Он в порыве особого рода честности попытался отстраниться, как бы показать, что ласки и чувства эти не заслужил. И объяснил, почему так считает.

– Зоинька, я, кажется, все испортил.

– Что ты говоришь, родной?

– Я поссорился с Василием Васильевичем. Он теперь настроен против нашего замысла. Мы не купим эту квартиру.



Зоя Вечеславовна, всегда с легкостью понимавшая суть самых запутанных и специальных вопросов, выказала на этот раз полное нежелание и неумение что-либо понять. Она снова бросилась мужу на грудь и снова забилась в приступе приязни. Это наконец вывело профессора из себя, и он сказал чуть недовольно, глядя, впрочем, жену по волосам:

– Извини, Зоинька, но ты так... говоришь сейчас, будто я в гробу, а ты со мной прощаешься.

Она замолкла и настолько внутренне сжалась, что это почувствовали даже обнимающие руки Евгения Сергеевича. И он тоже внутренне сжался. Он коснулся ее глубокой тайны, почувствовал это и испугался. Зоя Вечеславовна осторожно, но безапелляционно высвободилась из семейственных объятий, отошла к кровати и села на нее, сложив руки на коленях.

– Насчет денег не беспокойся. Они их нам отдадут. Квартиру мы купим. И даже не в Берлине, а в Париже.

– Что с тобой, Зоинька?

– Что со мной будет, я не знаю. И, кажется, уже не узнаю. А что будет с тобою, я не могу сказать.

Еще только приближаясь к выходу из сада, Василий Васильевич услышал человеческий смех. Он доносился со стороны пруда. Какое гулкое место – пруд, подумалось ему, и он выскочил на открытое пространство.

Вот оно что!

Галина Григорьевна стояла (в белом платье, с летним полупрозрачным зонтом, наклоненным на левое плечо) на краю лодочной пристани и хохотала. Развлекали ее молодые люди, сидевшие в лодке у ее ног.

Василий Васильевич, прекрасно понимая, что поступает глупо, побежал вниз по тропинке, страшно ступая мощными ногами и хватая воздух пещерою рта. Бакенбарды тряслись. Он вылетел на мостки, где давеча беседовали Настя и Афанасий Иванович, и вынужден был остановиться, комкая от бессилия одной рукою «Биржевые ведомости», все еще остававшиеся при нем.

Страшная штука ревность. Вдвойне она тяжела, когда ревнуешь любимую и глупую молодую жену к собственному сыну, симпатичному балбесу.

К счастью для генерала, дальнейшие обстоятельства сложились так, что он не выглядел полностью потерявшим лицо. Почти сразу вслед за его покорением мостков скатился от садовой ограды Васька, брат кучера Авдюшки, с сообщением, что «барыня Марья Андреевна всех кличут для дела».

Веслолюбивые студенты наконец заметили, что на противоположной стороне пруда кто-то есть. Тут сгидилась казавшаяся бессмысленною газета. Помахав ею, генерал объяснил гуляющей (гулящей?) и купающимся, что их ждут наверху, в доме.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Евгений Сергеевич поправил манжеты так, чтобы они выглядывали ровно на один дюйм из рукавов сюртука. Он знал, что все напряженно ждут, когда он заговорит, но знал также и то, что надобно выдержать паузу. Это оттенит и важность, и странность момента.

Место действия – разумеется, веранда. Время – второй час пополудни. Сидят: в креслах возле большого обеденного стола – Зоя Вечеславовна, Галина Григорьевна, Марья Андреевна и Василий Васильевич; на ступеньках, прислонившись спиной к косяку, – Саша. Стоят: Настя и Груша. Одна у окна, другая у дверей, ведущих в глубь дома. Евгений Сергеевич прохаживается, наклонив голову, как это было заведено у него в лекторской практике. Нужно, чтобы как можно больше мыслей собралось в лобную часть головы.

– Прошу отнестись к тому, что я сейчас скажу, с максимальным вниманием и, по возможности, без предубеждения. В последние дни открылись некие факты в жизни нашего Столешина...

– Вы про эти несчастные часы? – громко спросил генерал. Он постарался, чтобы его вопрос прозвучал не только громко, но и насмешливо. Его раздражало то, что профессор снова овладел всеобщим вниманием. Однако реакция остальных столешинцев на его выпад дала ему понять, что никому он сейчас не интересен со своими выпадами. «Некие факты» занимали общее воображение больше.

– Насколько я могу судить, все странности начались с этого мужика Фрола Бажова, с неизвестно откуда явившейся ему идеи, что вскоре или, вернее сказать, некогда он убьет нашего милейшего Афанасия Ивановича. Под воздействием этой идеи он явился сюда, инсценировал с помощью некоторых наших друзей что-то вроде медиумического сеанса...

Василий Васильевич покраснел, но промолчал.

– Результатом этого спектакля были особого рода сновидения, поразившие все того же Афанасия Ивановича.

– Это был не сон, – сказал дядя Фаня из своего кресла.

– Ну, скажем так, это было не сновидение, а видение, ведь вы, если не ошибаюсь, утверждаете, что всё это видели.

– Утверждаю.

– Сначала был обморок Зои Вечеславовны, – мрачно поправила Настя.

Все поглядели на нее и были весьма поражены ее видом. Губы сжаты, под глазами круги, в глазах непонятно к чему относящаяся скорбь. Она что-то знает, предположили некоторые, но никому неохота было задумываться, ибо хотелось следить за рассуждениями профессора. Его поза и тон обнадеживали.

– Верно, сначала был обморок Зои Вечеславовны, – сказала Зоя Вечеславовна, неожиданно перебивая мужа. – К тому же я должна заметить, что эти три явления связаны между собой.

– Три явления?

– Да, генерал, три. Бредовая идея мужика, нелепое сновидение...

– Это был не сон.

– ...Афанасия Ивановича и мой дурацкий обморок.

– Мы забыли еще кое-что, – сказала Настя.

– Что? – повернулись к ней.

– Например, заявление Тихона Петровича, что он непременно умрет в конце этого месяца.

– И Калистрат, – подал вдруг голос Саша. Все были очень удивлены его вмешательством. Смущенный Саша пояснил:

– Он ведь все ходит по имению и всем рассказывает, что через месяц пойдет на каторгу.

– Глупый мужицкий кураж, – несколько нервно отрезал профессор, – а что касается Тихона Петровича, тут у меня тоже есть объяснение. Человек, достигший преклонных лет, довольно часто ощущает приближение смертного часа. Это в известной степени говорит о, так сказать, полноценности его душевного состава. О зрелости души. У средневековых европейских народов существовало устойчивое поверье, что знание своего часа и смерть в своем доме среди родных и близких (двоюродных и жадных, подумал кто-то) при заранее приглашенном священнике – это не что иное, как счастье. Напротив, смерть случайная, а пуще того – смерть на чужбине, – это позор. В Венгрии, например, умерших внезапно хоронили в церковной ограде только за особо внесенную плату.

– Я не знаю, как там обстоят дела в Венгрии или Австрии, герр профессор, – улучил момент для контратаки генерал, – только Тихона Петровича я попрошу не примешивать ко всей этой чертовщине.

Евгений Сергеевич примирительно развел манжетами.

– Совершенно с вами согласен. Собственно, я и сам утверждаю, что никакой мистики в том, что Тихон Петрович знает о своем часе, нет. И конечно, мы его не станем касаться в наших в общем-то праздных рассуждениях. Также я предлагаю отринуть и болтовню Калистрата. По соображениям, правда, другого рода.

– По каким? – не желая идти на полное примирение, спросил Василий Васильевич.

– Хотя бы для того, чтобы не нарушать чистоту эксперимента, как говорят ученые.

Больше возражений не последовало.

– Вы согласны со мной, коллега? – к Саше Павлову. Рыжая голова стыдливо кивнула.

– Вот и славно, вернемся теперь к тому пункту в нашем рассуждении, в котором мы свернули с прямого пути. Итак, мы имеем дело с неким аффектом, подразумевающим, смею утверждать, общую причину. О ней и пойдет речь.

– Это часы, – вздохнул Афанасий Иванович, вытаскивая свой карманный хронометр.

– Правильно, часы. Фарфоровый немецкий пивовар с бочонком под мышкой, что стоял на каминной полке в «розовой гостиной». Его узнал Фрол Бажов во время путешествия по дому. Он же отчетливо приснился, прошу прощения, привиделся Афанасию Ивановичу. И он же, наконец, вызвал страшную, необъяснимую неприязнь у Зои Вечеславовны.

– Да, да, мне вдруг нестерпимо захотелось с этими часами расправиться. Изувечить, истребить! – быстро сказала профессорша, причем сказала уверенно, без малейшего надрыва. Сказала и закурила, но руки у нее при этом ни в малейшей степени не дрожали.

– А я их просто украл, – тихо признался дядя Фаня.

– Ну что вы, – поспешил ему на помощь Евгений Сергеевич, – что вы, какое же это воровство? Это опыт. Вы просто хотели проверить, что станется с вашим видением, ежели оно захочет повториться, когда из него будет удален главный элемент. Правильно?

– Правильно, – согласился, но без жара, Афанасий Иванович.

– Признаться, окажись я на вашем месте, пожалуй, повел бы себя похожим образом.

– Сначала я хотел их выбросить в пруд, а потом спрятал в каретном сарае.

– В пруд было бы надежнее, – усмехнулся генерал.

Дядя Фаня поднял на него печальные, покорные глаза.

– Нет. Пруд могут осушить. Когда-нибудь. И найти часы. Без меня. И поставить на полку. А спрятанные можно в любой момент пойти и разбить. Вдребезги.

– Ну, так Зоя Вечеславовна их и разбила, – генерал встал, разминая затекшие плечи, – насколько я слышал, именно вдребезги.

Наступила длинная и чем-то очень неприятная пауза.

– Это были не те часы, – прошептал дядя Фаня.

– Не те? – одновременно спросили несколько человек.

– Не те, – громко объявил Евгений Сергеевич, торжествующая нота дребезжа-ла у него в горле, – да, должен признаться, какое-то время я и сам был смущен, увидев в руках Афанасия Ивановича целехонький «краденый» экземпляр. Ведь буквально за полчаса до этого Зоя Вечеславовна подробно рассказала, что она сделала со своим экземпляром. Потом меня пронзила одна мысль, и я ринулся в «розовую гостиную».

Евгений Сергеевич сделал подобающую паузу. Кто-то должен был не удержаться и спросить: «Что же вы там увидели?»

Не удержался генерал.

– На каминной полке стоял третий экземпляр.

Груша и Галина Григорьевна одновременно и испуганно вскрикнули.

Профессор победоносно улыбнулся в их сторону.

– Я тоже был на грани испуга или чего-то в этом роде. Но, слава богу, все разъяснилось. С помощью...

Евгений Сергеевич юбилейной походкою подошел к Марье Андреевне, молчавшей все это время, и, подчеркнуто поклонившись, поцеловал ей руку. Потом распрямился и объявил:

– Двадцать лет назад на гамбургской выставке у Тихона Петровича зашел спор с одним местным буржуа. Спор о том, кто из них сильнее. Физически. Сели они за стол друг против друга и схватились за руки, кто, мол, кого положит. Тихон Петрович поставил на кон свой великолепнейший выезд. Буржуа этот, оказавшийся часовщиком-фабрикантом, – партию своих самых ценных произведений. Очень был уверен в своих силах. И зря. Одним словом, вернувшись с ярмарки, Тихон Петрович, выставив один хронометр как напоминание о великой победе на каминную полку, остальные одиннадцать схоронил в чулане. Со временем о коробке все забыли, кроме, разумеется, Марьи Андреевны. Этому чулану мы и обязаны нашими столь необычными переживаниями.

Кое-кто облегченно заулыбался. Далеко не все. Зоя Вечеславовна, несмотря на очевидный триумф своего мужа, не выказала никаких признаков улучшившегося настроения. Горничная Груша тоже.

Профессор закончил объяснение:

– Марья Андреевна – добрая душа. Каждый раз, обнаружив пропажу, она не затевала розыска, щадя чувства похитителя. Что-то ей подсказывало, что надо повести себя именно так. Отсюда и произошла наша столешинская мистика.

Казалось бы, все – можно радоваться, но тут встал со своего места Афанасий Иванович. Он был то ли смущен, то ли взволнован, а может быть, переполнен смесью этих чувств.

– Если, Марья Андреевна, вы... так способны понять переживания, скажем, мои, из-за этой глупой истории и путаницы и верите, что испытываю я настоящее страдание, а не просто блажь... – Он запнулся.

– Что вы хотите сказать, Афанасий Иванович? – раздался громкий шепот хозяйки дома.

– Отдайте мне все часы, приз Тихона Петровича. И я их все разобью.

– А я охотно помогу, – сказала Зоя Вечеславовна, – хотя и подозреваю, что это бесполезно.

Марью Андреевну, кажется, немного смутила просьба двоюродного брата, она задержалась с ответом. Брат истолковал это молчание по-своему.

– Я заплачу, разумеется, заплачу за все, даже за тот экземпляр, что разбила Зоя Вечеславовна.

– Боюсь, что мне придется заплатить самой, – загадочно усмехнулась профессорша. – И не мне одной.

Весьма заметное неудовольствие выразилось на лице Евгения Сергеевича. «Столешинская мистика», столь неотразимо им только что разоблаченная, не желала рассеиваться. Особенно досадно было то, что способствует этому драгоценная супруга.

– Конечно, берите, – всплеснула руками Марья Андреевна, – неужто вы думаете, что я стала бы требовать с вас деньги? Бог с вами. Да и Тихон Петрович бы не одобрил.

– Спасибо, сестрица, – прочувствованно сказал Афанасий Иванович.

К нему бесшумной тенью подошла Настя.

– Прикажете прямо сейчас, дядя Фаня?

– Прикажу, обязательно прикажу, – горячо закивал тот, – часы эти будем истреблять, не теряя ни одной секунды, а то как бы, боюсь, они не разбежались. Судя по всему, они живут какой-то своей жизнью.

– Авдюшка, Калистрат! – кликнула Настя, выйдя на ступени веранды. Там она столкнулась с наконец-то появившимся Аркадием.

– Что случилось, пожар? – пошутил он.

Не обращая на него внимания, Настя побежала в сторону каретного сарая.

– Однако как тебя туда тянет, – усмехнулся ей вслед кузен и стал подниматься по ступеням. (Василий Васильевич при появлении сына поморщился.)

– О, все в сборе, а я только что со станции. Там, знаете, какие-то новые веяния. Буфетчик Николай – так тот прямо мне сказал: быть, вашбродь, войне.

Даже сквозь легкое опьянение, привезенное со станции, Аркадий ощутил необычность настроения на веранде.

– Ну, у вас тут, я вижу, тоже новые какие-то идеи завелись.

Он наклонился к уху Саши Павлова и прошептал:

– Ни мне письма, ни тебе книг, скверно работает почтовое ведомство. Хотя оно и понятно – войне быть.

Теме этой не суждено было продолжиться, потому что перед ступенями веранды появились Авдюшка и Калистрат, они несли продолговатый, нерусского вида ящик, снабженный для удобства специальными ручками.

Настя указала, куда его поставить. Поставили – зачем-то с величайшей осторожностью. Подняли крышку. Внутри, засыпанные до подбородка серыми от времени опилками, сидели фарфоровые пивовары.

В предвкушении необычного зрелища публика покинула свои насиженные места и приблизилась к окнам. Открылись рамы, откинулись занавески.

Евгений Сергеевич, напротив, сел к столу и принялся наливать себе чай. Чай был холодным, это каким-то образом укрепило его во мнении, что прав все-таки он.

Афанасий Иванович медленно, но неукротимо снял свой короткий домашний пиджак и не глядя передал назад – оказалось, на руки единственному здесь пьяному, Аркадию, то есть. После этого он медленно, зная цену каждому шагу, пошел на гамбургский ящик. Он чувствовал, что в нем есть что-то от палача в этот момент, и был рад этому.

Авдюшка за время наступления успел сбегать к дворницкой и вернулся с топориком. Молчаливый Афанасий Иванович принял орудие расправы, взвесил в барской руке, обернулся к зевакам и, криво улыбнувшись, пошутил:

– Мы не убивцы.

Замечание вызвало бурную реакцию только в Аркадии, он, размахивая пиджаком, подбежал к ящику:

– Мы не убивцы, убивцы не мы.

Афанасий Иванович почти брезгливо отверг его каламбурную помощь, наклонился, наливая кровью лицо, и, схватив первые часы за голову, вырвал на свет. Подержал на весу облепленную прахом скульптурку. Философски бросил ее на гравий и тут же обрушил сверху неотразимый обух.

По лицам наблюдающих пробежала волна неодинаковых переживаний.

За первым Гансом последовал второй, а может, это был уже Фридрих. А потом Франц, и Юрген, и Генрих, и Йоган. Не все умирали с одного удара, иногда требовалось и два, и четыре. Только четные получались четкими. Полезные и забавные немецкие механизмы, превращаясь в безнадежное крошево, предсмертно ныли освобожденными пружинами. Осколки разлетались в стороны. Один, самый мстительный, вонзился не отошедшему на безопасное расстояние Аркадию в то место на левой руке, к которому мы прикасаемся, нащупывая пульс.

Афанасий Иванович, напоминая себе уже даже не палача, а некое совсем уж первобытное существо, припал губами к этой родственной ране, останавливая кровь.

– Bravo! – закричало сразу несколько голосов.

– Ну, дядь Фань, – восхищенно воскликнул спасенный юноша.

– Это просто античная баталия, – сказал Василий Васильевич.

Победитель отшвырнул топор, церемонно, все еще остро ощущая собственный общественный вес, принял свой пиджак и проследовал туда, где, судя по всему, предстояло отпраздновать успешное окончание дела. Может быть, даже с шампанским отпраздновать.

Когда начал смолкать первоначальный вихрь иронических (и необязательно) поздравлений и восхищенных комментариев, раздался хриловатый, как бы дополнительно охлажденный остывшим чаем голос профессора:

– Я бы на вашем месте, господа, послал бы кого-нибудь в «розовую гостиную».

Насколько мне известно, тот экземпляр, что усилиями нашего Геракла совершил вояж в каретный сарай, находится там.

Классическая сцена всеобщей немоты.

Настя бросается вон с веранды.

Зоя Вечеславовна саркастически закашливается и отбрасывает папиросу.

– Бьюсь об заклад, что их там уже нет.

– Почему?! – Огромные испуганные глаза Афанасия Ивановича.

– Их кто-то украл, чтобы подставить на каминную полку в нужный момент.

Холода добавил генерал:

– А мне и другое кажется странным: почему мы, господа, не подумали о том, что немец мог после поражения от Тихона Петровича наделать себе еще пару дюжин таких часиков. Может быть, какие-нибудь из них захотят явиться в «розовую гостиную» с жаждой, так сказать, мести. Вещи, мне кажется, имеют свою душу.

Евгений Сергеевич, хоть и был сердит на дядю Фаню за его шаманский шабаш, считал нужным во имя научной честности воспрепятствовать этой тихой травле.

– Насчет этого вашего немца, Василий Васильевич, мы можем быть спокойны.

– Отчего же такая безапелляционность? – все еще любясь высказанной им мыслью, поинтересовался генерал.

– Потому что наш Тихон Петрович не просто победил часовщика, а жутким образом повредил ему руку, так что оный принужден был оставить профессию. Само собой разумеется, что соответствующая компенсация была ему выплачена. И даже сверх того.

*Продолжение следует*



**В марте 2015 года отмечают:**

*50-летие*

**Айгуль КЕМЕЛБАЕВА**, прозаик, литературный критик

*60-летие*

**Шаяхмет АЛЖАНБАЙ**, поэт,

**Болат УСЕНБАЕВ**, поэт

**Абдрахим ПРАТОВ**, поэт

*70-летие*

**Темирхан МЕДЕТБЕК**, поэт

*80-летие*

**Турсын ЕЛЕУСИЗУЛЫ** (Малбагар Заман), поэт

**Редакция журнала «Простор»  
сердечно поздравляет юбиляров!**

